

The background is a historical map of the Russian Empire, titled 'IMPERII RUSSICI TABULA GENERALIS' by Johann Heinrich Reffel, 1794. The map shows the vast territory of the empire, including Siberia, the Caucasus, and the Far East. A decorative white border with stylized, repeating patterns frames the map. In the top right corner, there is an allegorical scene with figures and a globe. In the bottom right corner, there is a scene with people on a wooden platform, possibly a harbor or a public square.

А. Ю. Сорочан

**ЛИТЕРАТУРА
ПУТЕШЕСТВИЙ
КАК ЛИТЕРАТУРА**

Тверской государственной университет
Кафедра истории и теории литературы

А. Ю. Сорочан

**Литература путешествий
как
литература**

Монография

Тверь
ООО «Альфа-Пресс»
2024

УДК 821.161.1.09«19»
ББК Ш5(2=411.2)5-3
С 65

Рецензенты:

*доктор филологических наук Ю.В. Доманский,
доктор филологических наук А.В. Кошелев*

Сорочан А. Ю. Литература путешествий как литература: Монография. — Тверь: ООО «Альфа-Пресс», 2024. — 256 с.

Основу данной монографии составили тексты, посвященные литературе путешествий — как отдельным произведениям, так и общим теоретическим проблемам. Эти работы, написанные в течение 20 лет, отражают интерес автора к проблемам истории литературы и имагологии. В книге рассматриваются как классические, так и малоизученные травелоги, предлагаются новые подходы к осмыслению жанра.

ISBN 978-5-98721-073-4

© А. Ю. Сорочан, 2024
© ООО «Альфа-Пресс», 2024

От автора

Литература путешествий привлекает внимание самых разных исследователей — и изучение травелогов приводит к разным результатам. Кому-то интересны политические аспекты, кого-то больше занимает риторика или психология, кто-то анализирует проявленные в путевых текстах отношения колоний и метрополий или цивилизации и дикости... Но сама литература путешествий разнородна и разнопланова; даже её определение пока сформулировать не удалось. А исследовать нужно именно *литературу* — что я и пытаюсь делать по мере сил на протяжении многих лет.

Работая над монографией, посвященной русской литературе путешествий, я собрал свои работы последних двадцати лет, посвященные близким темам — и обнаружил, что в концепцию новой книги эти работы никак не вписываются. История вопроса, имагологические штудии, описания контекста и формулировки перспектив — всё это по-прежнему интересно, но читается совершенно иначе. И даже обращаясь к прежним материалам, я замечал, что выбираю другую оптику для анализа и интерпретации. Это закономерно, потому что прошло много времени, появились новые исследования, которые нужно учесть, и новые теории, с которыми можно соглашаться или полемизировать. Изменились и внешние обстоятельства... Поэтому я и решил составить настоящую книгу, обозначив основные направления работы.

Первый раздел — обзор исследований начала XXI века, посвященных литературе путешествий. Большинство проблем, на которые я указывал десять лет назад, остаются актуальными и сегодня — хотя в отдельных аспектах исследования темы наметился прогресс.

Во втором разделе собраны материалы, так или иначе связанные с имагологией, посвященные образу «Другого» и концепциям репрезентации и идентичности в литературе путешествий. Здесь идет речь и о признанных классиках, и об авторах «третьего ряда» — причем травелогии, входящие в литературный канон, рассматриваются в одном ряду с текстами малоизвестными и забы-

тыми. Как мне кажется, подобный анализ бесполезен и новые материалы подчас могут существенно изменить наше понимание классических текстов.

Тексты из третьего раздела посвящены категориям, опосредованно связанным с литературой путешествий: женское и мужское, провинция и столица, реальность и литература... Я обращаюсь к разным жанрам и разным литературным явлениям, пытаюсь показать необходимость более обширного контекста исследований травелогов.

В последнем разделе представлены «заметки на полях» — рецензии на монографии, посвященные литературе путешествий. Здесь важны не столько отдельные замечания, сколько общее представление о развитии научной мысли, об интересах исследователей, о решенных и нерешенных проблемах...

Статьи, из которых составлена эта книга, публиковались в разных, зачастую труднодоступных изданиях. Я не вносил изменений в тексты, только убрал устаревшие ссылки и сократил некоторые повторы — в случаях, где это можно было сделать без ущерба для логики.

География изданий, перечисленных в библиографическом списке, очень широка. От Парижа до Екатеринбургa, от Луганска до Самарканда — изучение травелогов часто становится путешествием, и воспоминания о путешествии мне дороги. Пусть многие странствия осуществлялись лишь на бумаге, но и у этого жанра «литературы воображения» богатая и почтенная история; воображаемые странствия порой бывают столь же интересными, как реальные.

К сожалению, нынешнее состояние науки и образования в России не дает поводов для особого оптимизма; это касается и основной темы издания. И поэтому сейчас я вряд ли написал бы тезисы, которые стали своеобразной кодой книги. Однако в 2015 году, во время первого форума «Наука будущего — наука молодых», мне казалось, что исследования идентичности могут принести и такие результаты... Радужные надежды рассеялись, книги о литературе путешествий пишутся в другом ключе, но перспектива обозначена — и пусть в новых работах я не могу реализовать намеченную программу, но надеюсь, что время вернуться к ней ещё настанет.

***Туда и обратно:
исследования литературы
путешествий
и методология
гуманитарной науки***

Поводов к написанию настоящего обзора несколько. Первый и наиболее очевидный — появление нескольких обобщающих исследований, подводящих итоги изучения литературы путешествий; вышло и несколько исследований, посвященных отдельным авторам и текстам. На Западе литература путешествий рассматривается как заведомо пограничное явление, и изучение ее позволяет серьезно трансформировать методологию филологических исследований. И в России (и это еще одно основание для подобного обзора), хотя и появляется немало исследований, связанных с конкретными травелогами, пока нет системного осмысления проблемы. Сколь угодно подробное описание путешествий по отдельному региону, характеристика путевых текстов определенной эпохи, изучение конкретных сочинений известных и неизвестных авторов еще не приближают нас к пониманию того, в чем же состоит особенность литературы путешествий. В исследованиях, о которых пойдет речь, похожие вопросы ставятся и решаются — пусть и не всегда убедительно.

Например, «Кембриджский путеводитель по американской литературе путешествий»¹ открывается утверждением, весьма показательным для новейших работ по данной теме: «Литература путешествий (так далее будем переводить термин «travel writing», в отличие от термина «travelogue», используемого для обозначения конкретного текста или группы текстов. — А.С.) всегда была тесно связана с конструированием американской идентичности. Занимая пространство между фактом и вымыслом, эта литература обнажает культурные установки и раскрывает изменяющиеся желания и

¹ The Cambridge Companion to American Travel Writing / Ed. by Judith Hamera and Alfred Bendixen. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. X, 294 p. (Cambridge Companions to Literature).

опасения как путешественника, так и читающей публики» (с. 1). Одновременно фиксируются все значимые (и уже традиционные) позиции: и двойственность травелогов, и их культурная роль, и важность литературы путешествий для характеристики национальной идентичности.

В данном путеводителе по американской литературе путешествий говорится, что нация «неутомимых эмигрантов» должна по определению сохранять интерес к путешествиям. Американская литература путешествий подчеркивает эту связь и развивает ее, решая комплексные идеологические и культурные задачи. Она одновременно раскрывает как внутрикультурные, так и межкультурные противоречия и их последствия. Она создает характер (в данном случае американский) и ландшафт (в широком понимании этого слова) через утверждение, исключение и отрицание «других» и погружает читателей в эти характеры и ландшафты, используя специфические риторические и жанровые модели. Тем самым вопрос об особенностях жанра как бы снимается: анализируется заранее постулированное единство; именно в таком качестве литературу путешествий и рассматривают все исследователи. Подчеркивая разнородность этого материала, о жанровых конвенциях упоминают все; хотя в большинстве случаев основное внимание уделяется иным вопросам. В отличие от «*The Cambridge Companion to Travel Writing*» (ed. by Peter Hulme and Tim Youngs. Cambridge, 2002), новая книга посвящена проблеме идентичности, поэтому не реконструируется литературный канон, а создается новый. Исключается предшествующая литературная традиция, в первую очередь англоязычная. Литература путешествий становится рамкой для объединения множества интересов, каждый из которых сам по себе может стать центральным для создания и развития нации. К числу таких интересов авторы относят: «коммерческие, ду-

ховные, социополитические, научные и, конечно, литературные» (с. 2). Обратим внимание на порядок перечисления, он точно соответствует концепциям большинства исследований. Как пишут авторы, американская литература путешествий включает репортажи и выдумки, мемуары и этнографические тексты, исследования и романы. Большинство авторов кембриджского издания обращаются к нехудожественным текстам, основанным, «по крайней мере теоретически», на реальном опыте путешественников, которые опирались на детальное изучение истории и географии. В реальности же многие травелоги строятся совершенно иначе, представление о «себе» подчиняется более масштабному описанию деталей природы и общества в определенном пространстве, и детали эти могут быть не так уж тесно связаны с проблемой идентичности. Понятна поэтому тематическая организация книги: 13 статей посвящены определенным проблемам как географического (путешествия на Восток, в Европу, на Юг), так и этнокультурного свойства (афроамериканские травелоги, женские путевые тексты и т.д.). Выделяются три группы работ: «американский ландшафт» (от первопоселенцев до битников), «американцы за границей» и «общественные события и американские пространства» (наиболее сложные тексты, в которых связь литературы и общества больше подразумевается; это касается и статей об афроамериканцах, и ряда других разделов). Изменения во времени и пространстве представляются наиболее надежным материалом анализа, потому что «американцы представляли и представляют свои материальные и культурные ландшафты тесно связанными с подлинными и воображаемыми встречами с иными местами и временами, где-то и когда-то» (с. 5). «Здесь и сейчас» интерпретируется как диалог с «там и тогда» — при этом ни в одной работе диало-

гические концепции литературы все же не играют преобладающей роли.

Исходная точка анализа в данном случае — специфический «американизм» восприятия ландшафта: ландшафт и литература рождают некое впечатление «психологического палимпсеста» (с. 27 и далее), особенно очевидное в текстах о Новом мире; столкновение с его естественными чудесами ведет к возникновению интереснейших дилемм. Например, следующая, для авторов «самая простая и сложная»: «Полон ландшафт или пуст?» Уильям Стоу пишет в этой книге, что «Дэниэл Бун видит ландшафт как счастливую пустоту, полезное условие для собственного расположения, а последующих поселенцев считает законными наследниками уже не пустого места» (с. 27).

Духовное состояние личности может быть интерпретировано с учетом ландшафта — в России суровый Север, враждебный Кавказ, «благодатный Юг», в Америке: экзотический, таинственный Юго-Запад, волшебный Ниагарский водопад, полноводная Миссиссиппи (навигация по этой реке, как отмечает Томас Рис Смит (с. 75), становится ритуальным элементом специфически американского духовного паломничества). Американизм, утверждаемый, открываемый, конструируемый с учетом ландшафта, часто оказывается амбивалентным. Та же река Миссиссиппи «несет бремя нации» (с. 74), связывается с образами «пограничного оптимизма», оказывается у Эмерсона противоядием от Европы, навевает воспоминания об ужасах работорговли и о бесконечной нищете. Юго-Запад одновременно и хранилище американской аутентичности, и серия подделок, «репрезентаций репрезентаций мест» (с. 9). Пожалуй, именно с этой многозначностью собственного ландшафта связано то, что американское самоутверждение наиболее плодотворно реализовано в травелогах, посвященных

чужим землям (в России, к примеру, это менее очевидно, особенно во второй половине XIX в.).

Такие путешествия за границу тоже важны лишь в связи с воображаемой родиной, которая в них появляется. Так, Кристофер Макбрайд исследует то, каким образом путешественники на Гавайи и Кубу обнаруживали на островах опровержения расовых теорий, которые парадоксальным образом подтверждались «дома». Терри Сизар замечает, что Южная Америка для путешественников стала «суррогатным фронтиром», обнажившим скрываемые неокOLONиальные установки. Путешествия в Палестину, как показывает Хилтон Обензингер, ставили вечные вопросы, хотя внешние условия этих путешествий зачастую разочаровывали — и тогда рождались «языческие» тексты (с. 151).

Еще одна тесная связь, обнажаемая литературой путешествий — связь мобильности с «материальностью». Возможно, для демонстрации этого тезиса избираются те авторы, которые принадлежат к группам, отверженным «белыми патриархальными элитами», наделенным статусом «тела», противопоставленного разуму, а именно — афроамериканцам и женщинам. Вирджиния Уэтли Смит отмечает, что именно материальность является ключевой чертой афроамериканских травелогов. Она исследует «истории рабов» как формы описания «измученных тел и разрушенных душ», путешествия в данном случае связаны с неволей — будь то тюрьмы или корабли работорговцев. Отсюда приоритет материальных ограничений над духовными свободами, для обычного путешественника подразумеваемыми (с. 198). О «женских» травелогах Сьюзен Робертсон пишет как о выражении опасностей, в том числе «сексуального риска, так как они сами предстают территориями, которые могут захватить другие» (с. 223).

Гораздо интереснее другая установка, объединяющая все травелоги. Ведь мобильность предпо-

лагает движение откуда-то и куда-то, а значит, «где-то» должен неминуемо обнаружиться «дом». «Дом» в контексте американской литературы путешествий — образ простой, хотя может оказаться антиутопическим (конец путешествия для раба, возвращение к повседневным ограничениям для битника). Для путешественника домом становятся и родина, и место, которое он посещает — отсюда и все возрастающие противоречия. Но создание или развенчание различных представлений о «доме» все равно сохраняет нерушимую основу — образ «Америки как таковой», важный и для психоделического странника, и для убежденного расиста.

Авторы путевых текстов используют величественные природные образы, подчеркивая уникальность Америки и поддерживая национальную гордость, но образы эти не статичны, они в своих изменениях отражают сложность и истории, и социума. Репрезентация ландшафта, о которой часто ведут речь исследователи травелогов, становится «актом прославления» (с. 35), а вот аналитический и критический ее аспекты освещаются менее подробно. Так, весьма пафосно представлен основной маршрут американских путешествий: Нью-Йорк (чудо цивилизации), река Гудзон (чудо природы), канал Эри («дивный поток»), Ниагара («самый восхитительный из движущихся потоков»). И эта возвышенная картина ведет к соответственной интерпретации и образов путешественников: они могут представлять за границей фланерами, но сохраняют верность привычному демократическому мироустройству и склонны улыбаться, а не впадать в ярость при виде чужих недостатков. И не следует забывать, что «иностранные путешественники зачастую видят больше, а остающиеся дома — больше понимают» (с. 59).

В целом на основе книги складывается представление о литературе путешествий; все элементы травелога вроде бы отражены, но при вниматель-

ном рассмотрении обнаруживаются нестыковки. Почему путешествия заняли такое важное место в американоцентричной картине мира? Есть ли возможность их историко-литературной классификации? И как меняются путешествия в меняющемся мире? Существует немало исследовательских ответов на эти и другие вопросы — традиционных и не вполне традиционных, связанных с привычной методологией и основанных на новейших междисциплинарных подходах. Далее рассмотрим несколько работ, посвященных более частным — пусть и не всегда широко известным — материалам. Здесь наблюдения над отдельными путевыми текстами помогут существенно скорректировать наши представления о жанре, основанные на исследовательской традиции, восходящей в России еще к началу XX в. И по-прежнему, как и тогда, одним из наиболее продуктивных путей остается осмысление травелогов в рамках существующей картины литературных направлений

В сборнике «Романтические местности: Европа пишет место»¹ рассматриваются не столько формы фиксации опыта, сколько «впечатления», причем в первую очередь домашние.

Направления исследований жанра здесь еще более многочисленны, чем в рассмотренном выше кембриджском издании. Местность — не просто фон для развития событий (домашний и уютный или экзотический и неведомый), она связана с внедрением в литературный текст элементов идентичности или идентичностей; она впечатляет читателей контрастом между «домом» и «чужим местом»; она позволяет авторам моделировать чувство субъективности, которое опирается на определение известного и в то же время расширяет пре-

¹ Romantic Localities: Europe Writes Place / Ed. by Christoph Bode and Jacqueline Labbe. L.: Pickering & Chatto, 2010. 309 p. (The Enlightenment World).

дела известного. Европейцы в XVIII в. столкнулись с идеей глобального, которая раздвинула рамки культурных представлений о соотношении цивилизации и дикости, и в литературе конца столетия поэты и прозаики создали то, что составители сборника именуют «эстетикой исследования», использованием локального для исследования идеи себя, другого, дома» (с. 1). Эта плодотворная концепция позволяет соотнести травелоги с иными аспектами представлений о пространстве. Например, местность «как реальное место» и «как концепт» — для романтической эпохи, которой посвящены материалы сборника, это противопоставление особенно актуально. В первом случае обеспечивается «колорит», во втором — место принадлежит чаще всего «иному миру».

«Эстетика исследования» начинается с интереса к месту в культуре; местность становится конечной точкой и приводит к совершенно новым пониманиям локального. Писатели исследуют места, в которые путешествуют, в которых живут, в которые эмигрируют; создают метафорические географии, трансформируют некое место в иное. И в какой-то момент обсуждение темы приводит к выводу о «творческой непостижимости» (с. 3).

Исследователи травелогов и ставят иные, более связанные с конкретной эпохой вопросы; основной из них: «Когда романтики пишут о месте, значит ли это, что они его создают»? (с. 3). И связанный с ним — возможно ли вообще воссоздать место; отразить его точно в описании путешествия, уловить его дух в поэзии, даже фактически представить в живописи, набросках, моделях? Художественное творчество, разумеется, — не описание. Место пересоздается. Но где предел, отделяющий реальный опыт путешественника от созданных в его тексте образов?

Речь вновь идет об идентичности — идентичности места в исторической или мифологической

перспективе, в прошлом и в настоящем. Создание эстетической цельности представляет особую сложность, когда источником оказывается путевой текст — принципиально изменчивый, лишенный жестких ограничений. И формирование «идентичности» как места, так и повествователя затрудняется — путешествие длится, впечатления от разных объектов и событий наслаиваются друг на друга, путешественник меняется... Литературоведы показывают, как внешняя прихотливость формы маскирует довольно жесткие схемы — и в то же время демонстрируют, как эти схемы могут утрачивать стабильность.

Литература путешествий приводит нас к рассуждению о пространстве и времени, к «культурной практике осмысления времени в формах пространства», обратный процесс весьма затруднен. Книга посвящена «писанию места и другого», воображению и отражению себя в локальном; здесь опыт субъекта выражается в серии своего рода «зеркальных набросков» (с. 7); конкретное место, местность, локус — разные формы восприятия пространства в литературном тексте.

Это подводит нас к разговору об относительности. Действительно, например, в статье Стефании Фрике «В лесах: Робин Гуд и Шервудский лес в романтическом воображении» рассматривается «романтическое присвоение традиционного хронотопа (и гетеротопии)» средневекового Шервуда; путешественники новой эпохи используют известное пространство в разных целях — для реконструкции прошлого, для изменения или даже уничтожения традиции. Фелиситас Менхард в статье, посвященной пешеходным экскурсиям по романтическим ландшафтам, анализирует различные типы соотношения пеших путешествий и поэтических исследований традиционно романтических мест — у Блейка, Вордсворта и Кольриджа (и в качестве контраста — Томаса Гарди). Дискурсивный анализ

включает обращения и к понятию о движении, и к пониманию процесса и существа открытия и приводит к параллелям между пешим путешествием и текстом, построенным как аналог этого путешествия. Другая статья, посвященная связи между физическим и литературным опытом, написана Жаклин Лаббе («На пересечении вымысла и реальности»). Здесь поэтические тексты Вордсворта и Шарлоты Смит, посвященные конкретным местам, обозначенным в заглавиях, получают теоретическое осмысление: акт сочинения стихов позволяет исследовать «поэтику пространственной и композиционной географии» (с. 117). В статье Тома Фарнисса рассматривается не совсем литературный материал — «Статистический отчет о Шотландии» (1791--1799). Здесь географические образы становятся частью романтического мира, а описание геологических диковин составляет основу представлений о местности; колоритное и грандиозное позволяет поместить специфический ландшафт на масштабную национальную и идеологическую карту. Джеймс Робертсон, автор отчета, помещая ландшафт Троссахса (Шотландия) в эпицентр ужасного геологического потрясения, одновременно переносит регион и в центр романтической Шотландии, романтическое открытие связывается с геологическим.

Столь же продуктивна и идея описания места, дающего простор для множества интерпретаций этого места. Кристин Отт исследует образ литературного туриста, для которого Шотландия важна не собственно географией, а географией, описанной Макферсоном и Бернсом. Начиная с XVIII в. туризм в этом регионе носил книжный характер. Более раннее представление о Шотландии, примитивной и грубой, с легкостью заменяется поэтическими картинками, ландшафт скрывается за интерпретацией.

Как демонстрирует Поли Эткин в статье «Гости-ница парадоксов: дом и путешествие через Грасмер», воздействие Вордсворта оказалось еще более продуктивным, чем воздействие идеи «Шотландии». В данном случае рассматривается место, которое одновременно представляло и домом, и «остановкой в пути». Когда Вордсворт наконец снял дом в Грасмере, его бесприютности настал конец — и это не могло не отразиться в стихах. Но одновременно сопутствующая найму жилья неуверенность в завтрашнем дне и убеждение в том, что путешествие продолжится, тоже есть в текстах — в форме размышлений о запоздалом возвращении.

Впрочем, не всегда внимание исследователей привлекают известные тексты и заметные имена — элементы травелога входят, например, в альбомную культуру, которой посвящена статья Саманты Мэттьюз — место, занимаемое в пространстве, может стать постоянным; это опасно, хотя и желанно. В альбомах появляются отчеты о визитах как о путешествиях в чужие места, четко фиксированных во времени и пространстве; тщательно подавляемая охота к перемене мест выплескивается в немногочисленных строках — и в локальном колорите, который придают альбому вложенные между страницами цветы, выросшие в разных местах. В «Путешествии летом 1794 г. через Голландию и западную границу в Германию» Анна Радклиф легко обнаружить сходную «боязнь». Используя тексты шекспировской Англии, как показывает Анджела Райт, Радклиф не столько указывает на чужеродность иных краев, сколько до неузнаваемости изменяет образ домашнего уюта. Писательница не критикует Европу с позиций просвещенной Англии, а описывает утраченную и оплакиваемую «старую Англию» с позиций «меняющейся Европы». Сходным образом рассматривает романтическое путешествие Джеймс Вигус в статье, посвященной Генри К. Робинсону. Странствия

по Германии, содержащие описания «всего романтического», предстают попыткой создания «общества внутри общества», где переплетаются философия, искусство и религия, общества идеального, не существующего в реальной Германии.

Непоправимо утраченное прошлое предстает и романтикам, отправляющимся в путешествие в Помпеи (статья Софии Томас «Место для отдыха: Помпеи и панорама»). Местный колорит стал историей, когда были завершены раскопки и Помпеи дали материал для популярных панорам в Лондоне. История — не всегда утешительное убежище для путешественника: описания панорам чрезмерно мрачны, и возможность «увидеть и потрогать» почти всегда оказывается разрушительной. Только романтизируя местности, подчас возможно избежать таких катастроф. Дуглас Нил, анализируя поэмы Вордсворта об Италии, показывает, что они отражают желание автора путешествовать во времени, переносясь в прошлое, и подчеркивают значение мильтоновских образов для будущего. Италия — плодородный ландшафт, значимый и насыщенный. Нил пытается объяснить, как поэт, сделавший романтической одну местность, связывает свою романтическую идентичность с иной.

Воображаемым путешествиям посвящены статьи Розы Карл и Сильвии Мергенталь. В первой рассматривается творчество П.Б. Шелли (особенно поэма «Лаон и Цитна»), где линия между реальным и вымышленным стирается; создание утопических и антиутопических пространств в тексте воспринимается аллегорией воображения и отношений с читателем, которые и открывают путь в эти пространства. Фантастический образ «далекого мира» в «Талисмане» В. Скотта тоже дает возможность отойти от упрощенных трактовок этого романа. Непредсказуемость и неясность воспринимаются как знаковый элемент воображаемого путешествия, в то время как в известном мире существуют

лишь ограниченные варианты выбора, «здесь» нет драматических различий и двусмысленностей. Меняется мир вокруг путешественника, меняется и сам путешественник, реальный он или воображаемый. Так пытаются объяснить изменчивость жанровых границ даже в пределах нескольких десятилетий авторы статей.

Конечно, для путешествий расстояние имеет принципиальное значение — пешие прогулки романтиков, трансатлантические вояжи Марка Твена и полеты вокруг света шестидесятников содержат качественно различные описания пространства. Но важна и степень дистанцированности повествователя от пространства — первоначально минимальная, позднее — все увеличивающаяся. К этому выводу исследователи романтических местностей приближаются, но хронологические ограничения мешают его развернуть.

Впрочем, тип романтического путешественника может претерпеть существенные изменения, если выбрать иной угол зрения. Так, тип изгнанника (точнее, изгнанницы) рассматривается в книге Анджелики Гудден «Мадам де Сталь. Опасное изгнание»¹. Эта книга — о другой грани травелога, не о присутствии, а об отсутствии. Ведь отправляясь в путешествие, мы какие-то места обречены покидать. Речь идет о романтическом осмыслении «изгнания», материалом являются путешествия Жермены де Сталь. Путешествия парадоксальны: здесь и утраты, становящиеся приобретениями, и страдания, которые приносят радость, и наказание, оборачивающееся наградой. Изгнание из Парижа стимулировало творческие силы де Сталь, однако невозможность вернуться заставляла ее страдать — и в итоге родился тип писания, «кото-

¹ *Goodden Angelica. Madame de Stael: The Dangerous Exile.* N.Y.: Oxford University Press, 2008. VIII, 331 p.

рый основан на отсутствии, «на географии желания», которое невозможно удовлетворить (с. 1).

Отсутствие становится присутствием — обмен письмами с далекой родиной и людьми, связанными с родиной, становится элементом путешествия наоборот. Эта конструкция (реальное движение от Франции и литературное возвращение домой) определяет всю литературную судьбу де Сталь. Париж — основа того «гибридного» мира, который создается автором. А другие места получают иное значение; они предлагают разные варианты логики человеческого существования; само слово «национальность» наиболее полно выражает это представление о вариативности.

При таком интересном посыле основа творческой личности де Сталь в работе раскрывается более традиционно: «...нестабильное соединение политического гнева, уязвленной женственности и гендерного подавления» (с. 10). Потребность в авторстве, которая сделала де Сталь знаменитейшей женщиной в Европе, противостояла и необходимости «женского конформизма» — эта двойственность тоже отражена во всех рассматриваемых текстах. Ощущение утраты затмевает все возможные внешние впечатления или преобразует их до неузнаваемости; грань между изгнанием и эмиграцией, о которой размышляет Гудден, — где-то здесь. Изгнанник видит «иные края» как нечто противоположное желанному дому, эмигрант вынужден видеть в них новый, пусть и нежеланный, дом.

Сочинения де Сталь изначально строились на изображении страдающих женщин, пребывавших за пределами знакомого им «цивилизованного» мира, в котором были политика, философия, развлечения, беседы, и сочинительство. Но воображаемые путешествия де Сталь имели реальные последствия — доступ в некоторые сферы «домашнего мира» был ей закрыт (с. 98). Литература путешест-

вий становится формой сублимации; это не художественное видение мира, а описание возможности иного, желаемого видения. Потому о художественной стороне травелогов де Сталь в книге говорится мало — основное внимание уделяется политическим и эротическим декларациям. Мрачные впечатления от Германии связаны не столько с обстоятельствами путешествия, сколько с переживанием того, что путешествию предшествовало. Изгнание формирует некие «механизмы самопожирения»; невозможность остановиться в главах о Германии и России неоднократно подчеркивается.

Позднейшее литературное переосмысление итогов путешествия ничего не меняет, хотя возможно внести в него гендерный элемент: для де Сталь «пол оставался важным фактором в теории и практике изгнания» (с. 135). Изгнанный мужчина мог чаще всего вести свободную жизнь — исследователя и наблюдателя, свободного от ограничений светскости и пристойности, налагаемых на женщину.

Литературный элемент преобладает в путешествиях по Германии. Веймар для де Сталь представлял собой успешный опыт культуры, которая в малой степени зависела от Франции (или вовсе не зависела). Де Сталь почти пресытилась французской культурой, которую к тому же считала пребывающей в рабстве у бонапартистов; будущее Германии — не в имитации чужих достижений, а в создании своих. Итог немецкого путешествия: де Сталь привезла с собой Шлегеля как некий трофей, живое свидетельство ее немецкого триумфа, символ национального завоевания, победы в другой, столь же решительной войне, доказательство абсолютной власти путешественницы в ее мире. Ее путешествие оказывается «литературным аналогом походов Бонапарта» (с. 153).

Изгнание (из Франции и из культурной Европы) было невыносимо; разнообразные формы утраты сопровождают путешествия чаще, чем обретения.

Но бессмысленные странствия обретают смысл, бесконечное перечисление мест изгнания сменяется постижением смысла существования — по крайней мере, для автора, создающего во время кратких остановок все новые тексты.

Рассматривается в книге и путешествие в Россию, которая изначально считается «гибридом цивилизованного и дикого» мира. Де Сталь констатирует «случайность» культуры в сельской по преимуществу стране, и ее наблюдения вполне логично вписываются в общую модель поведения изгнанника — писательница сталкивается с примитивной энергией, отличающей русских, по ее мнению, от обитателей Запада. Интерес это может вызывать, но ненадолго; ведь в России мало что напоминает о «просвещенном обществе», в которое стремится писательница. И плюсы и минусы России для де Сталь не основаны на наблюдениях, они связаны с переживаниями прошлого. Она въезжает в Россию 14 июля — в 1789 г. в этот день ее жизнь навсегда переменяла революция; она вынуждена спасаться от Наполеона, воплощающего Францию. Потому все рассказы о России мало связаны с реальными впечатлениями, куда больше — с давними европейскими переживаниями. Она была поражена противоречиями в общественном устройстве России и в отдельных людях, что казалось «простым эквивалентом контрасту между европейской цивилизацией и азиатской культурой» (с. 211). Этот взгляд писательницы во многом принимается на веру исследователем и позволяет объяснить многие русские страницы в текстах де Сталь. «Имитация просвещенных нравов» русскими вызывает не смех, а воспоминание о первоисточниках и т.д. Потому и взгляд ее кажется более «позитивным», но это лишь иллюзия, связанная с характером «путевых заметок изгнанника».

Выводы в работе весьма масштабны и оправдывают сделанные в предисловии заявки. Изгна-

ние действительно вело де Сталь к свободе, а не к ограничениям. Борьба с Наполеоном, которой столько внимания уделено в книге «Десять лет в изгнании», представляется литературным образом, созданным под влиянием путешествий: от одной свободы писатель переходит к другой; путешествие становится политическим орудием. А для самой де Сталь оно означало «две вещи — отсутствие и писание об отсутствии» (с. 292), пребывание за границей позволило не только увидеть иные страны, но и подробно написать о них, тем самым сохранив творческую активность. В изгнании есть место для литературы, изгнание само становится литературой, письменной декларацией того, что конструируется в сознании автора, протестом, который преодолевает локальные, национальные, даже интернациональные ограничения» (с. 294). Впрочем, одно ограничение остается. Путешествие все равно учитывает ограниченность «женского положения» — оно связано со сферой частной жизни. Изгнание становится неизбежной судьбой, однако в литературе можно этой судьбы избежать. Смерть здесь «может оказаться метафорой, хотя в человеческой жизни она реальна. И <...> для изгнанника, ассоциирующего жизнь с надеждой, литература об изгнании оказывается лучшим выходом» (с. 297).

Сужая рамки путевых текстов де Сталь, Гудден расширяет перспективы исследования «полемических» квазитравелогов XVIII и начала XIX вв. Связь меланхолии и творческой способности, которую декларировала де Сталь, в путевых текстах обретает новое значение. Де Сталь несчастлива, когда не пишет, несчастна, когда пишет и сталкивается с цензурой. Однако как обреченную романтическую героиню современники ее не воспринимали. Чувство незавершенности, присутствующее в ее текстах, они интерпретировали — более чем справедливо — как жажду жизни. Однако такого рода персонаж в литературе путешествий романтиче-

ской эпохи всего один. Гораздо более распространен иной тип — и исследование, ему посвященное, более традиционно — хотя бы потому, что в нем пределы жанра строго ограничены спецификой романтического метода жизнетворчества.

Речь идет о книге Карла Томпсона «Страдающий путешественник и романтическое воображение»¹, раскрывающей весь потенциал анализа травелогов в контексте литературных направлений. Опасности и трудности могут устрашать путешественников, но зачастую — и в текстах это заметно и становится объектом научной рефлексии — они становятся важной частью и даже целью путешествия, которое кажется иррациональным, чрезмерно опасным и даже нелепым, но оказывается важным элементом жизненной стратегии и в таковом качестве фиксируется на бумаге. Почему же в таком случае путешественник страдает?

Романтической Карл Томпсон считает тенденцию к построению путешествий таким образом, чтобы в идеале они включали мучительные усилия и всяческие злоключения. «Романтизация» требует (здесь Томпсон плодотворно анализирует теоретические тексты Кольриджа) признания ценности неприятного путевого опыта, в противовес традиционному приятному. Исследование не столько самих злоключений, сколько их смысла придает несколько отвлеченный оттенок интересно задуманному тексту, в котором иногда не хватает конкретики анализа — эстетические позиции Вордсворта, Кольриджа, Байрона, Шелли и других авторов более занимательны, чем конкретные элементы путевого опыта. В отличие от А. Гудден, Томпсон не анализирует подробно биографии писателей, его занимают стимулы в поиске «романтических си-

¹ *Thompson Carl. The Suffering Traveller and the Romantic Imagination. Oxford: Clarendon Press, 2007. XII, 299 p. (Oxford English Monographs).*

туаций (с. 7), смена вкусовых и чувственных представлений, позволяющая говорить о «новой» литературе путешествий в эру романтизма.

Романтизм Томпсона — «собрание отношений, практик и репрезентационных стратегий, адаптированных большей частью путешественниками-мужчинами» (с. 7). У романтического путешествия есть сценарий, и путевые тексты выстроены в соответствии с этим изначальным планом. Но ему подчинено и исследование данных текстов.

Автору работы необходимо найти рамку для совершенно разнородных явлений. Эффектные описания «романтических ситуаций», подготовленных путешественником и охотно воспринятых его аудиторией, должны быть представлены не только в текстах и их источниках, но и в ожиданиях и откликах, связанных со сценариями злоклучений. Анекдоты и иллюстрации рассматриваются в одном ряду с завершенными поэтическими текстами и эстетическими трактатами. Привлекается материал, имеющий опосредованное отношение к теме. Например, признав влияние Радклиф на путевые тексты романтиков, Томпсон обращается и «ко всем литературным жанрам, которые успешно трансформированы в текстах Радклиф» — здесь и сентименталистские тексты, и готическая традиция, и многое другое, неизбежное и не всегда значимое для исходной, довольно узкой темы (с. 12). Поджанры — кораблекрушение и описание плена у варваров — тоже рассматриваются как романтические, хотя об условности и «широте» термина Томпсон упоминает неоднократно (с. 8, 17 и далее). Особое внимание в исследовании уделяется Вордсворту и Байрону, оказавшим особое влияние на формирование нового типа путешественника и путешествий для последующих поколений англичан. Подтипы «страдающих путешественников» могут различаться, но сам интерес к подобному истолкованию травелога остается общим.

В реальном путешествии может случиться все, в литературном — лишь то, что предопределено автором, а точнее — схемой. В реальном путешествии неудачи неизбежны, в литературном — необходимы как элемент жанровой модели. Опасности и трудности не всегда подлинны, но оказываются маркерами подлинности, на ней основывается авторитет и культурный капитал, на который предъясняет права романтический путешественник (с. 24). Любовное влечение и паломничество — два источника романтических злоключений и две основных модели, с которыми соотносят свои неудачи и герои, и авторы. А многие виды туризма романтики просто отвергают и вовсе не включают упоминания о них в состав травелогов. Впрочем, три основных типа туристов, особенно возмущающих романтическое воображение, Томпсон характеризует весьма подробно. Эти разновидности — турист в поисках местного колорита, турист, отправляющийся в гранд-тур, и туристка (с. 32 и далее). Само слово «турист» появляется в конце XVIII в. Классовый состав туристов быстро меняется — на смену аристократам, пишущим для удовольствия, быстро приходят «обычные люди», для которых путевой текст — выражение деловой активности; они создают не развлечения, а руководства (Смоллетт и Шарп). Эти тексты связаны с утверждением патриотизма и могут рассматриваться в постколониальном контексте. Новые формы туризма не всегда соотносятся с риторическим утверждением «улучшений» или национальной выгоды. Мода на сентиментальные путешествия, например, основана на авторитете Стерна, роман которого вдохновил множество реальных путешественников, некоторые создали и соответствующие травелоги «Another Traveller! Or Cursory Remarks and critical Observations Made Upon a Journey Through Part of the Netherlands» (1767–1769) С. Патерсона and «Travels for the Heart. Written in

France» (1777) С. Пратта. В России, как мы помним, сентиментальное путешествие логично приводит к игровой традиции Вельтмана и Сенковского.

А потом наступила привлекающая автора эпоха романтического антитуризма. С конца XVIII в. фигура туриста ассоциируется с дебатами о современности и с тревогой по поводу развития «новых сил» в Британии и в остальном мире, новый туризм порожден «индустриальной, потребительской и транспортной революцией» (с. 40). И «турист» стал символом «современного» — с ним связаны образы платных дорог, мостовых, оград и препятствий, а не свободы и отдыха. Чем шире распространяется туризм, тем больше романтики отвергают его. При этом романтические травелоги (кроме путеводителя Вордсворта), подробно анализируемые Томпсоном, написаны в стихах, а не в прозе.

Злоключения туриста в них — либо экзистенциального, либо политического свойства. Впрочем, эти аспекты часто пересекаются: сопоставление Байрона со Старым Мореходом (из поэмы Кольриджа «Сказание о Старом Мореходе») позволяет нам по-новому взглянуть на первый этап путешествий в биографии поэта и на тот драматический эффект, которого Байрон добивается посредством путешествий, принимая роль странника. И это не роль туриста, а роль несчастного путника, отмеченного ужасным морским испытанием и преображенного в этом испытании (с. 61). В разряд травелогов, таким образом, попадают и «Паломничество Чайльд-Гарольда», и «Сказание о Старом Мореходе», но это скорее анти-путешествия, и причины их появления гораздо важнее, чем связи этих текстов с канонами литературы путешествий. Провиденциализм, конечно, важен, но ужасные переживания путешественника могут объясняться и иначе. И большая часть примеров берется из прозы, от анонимных отчетов о кораблекрушениях до

жизнеописаний искателей приключений Дампьера, Шелвока и других. Старый Мореход в ряду реальных путешественников — такой же эффектный пример моделирования романтического воображения (с. 105). Общество сравнивается с кораблем, который терпит крушение. Разумеется, и пропаганда, и протест в описаниях катастрофических путешествий занимают важное место.

Провидение в травелогах зачастую призвано подчеркнуть патриотическую направленность текста — роль Британии как страны, наделенной привилегиями свыше и управляющей судьбами мира, но элемент провиденциализма еще и усиливает авторитарный пафос текста. Непослушание и недоверие к высшим по социальному статусу кажется неотличимым от безверия и непослушания божественной воле. Опираясь на тексты Кольриджа и Байрона, Томпсон обстоятельно развивает эту актуальную для романтических травелогов мысль (с. 117 и далее).

Роль социального протеста возрастает в путешествиях пеших — здесь традиция в Англии прослеживается вплоть до Стивенсона, хотя различие «картинного» и «пешего» путешествия в его случае уже сомнительно (достаточно сравнить ранние эссе и путевые очерки). Увы, подробной характеристики этой традиции работа не содержит; упоминания об Уильяме Френде, Джоне Стюарте и других «знаменитых пешеходах» в меньшей степени связаны с жанровой моделью и демонстрируют лишь широту распространения традиции.

Гораздо интереснее обращения Томпсона к «ученым путешествиям». Особая позиция путевых записок исследователей — кажущаяся: многие искатели развлечений стилизуют свои тексты под исследовательские, а равно и свои приключения — под ученые экспедиции (с. 148). Исследование — не только расширение границ империи или территориальная разведка, это еще и испытание, свя-

занное со страданиями путешественника и отторжением «обычного» образа жизни (здесь речь идет в первую очередь об исследователе Центральной Африки Мунго Парке).

Подробно характеризуются два типа сценариев путешествий — вордсвортианские и байронические. В первом случае путешественник гордо шествует по пути страданий. Блуждая пешком по труднодоступным регионам, он подчас воспринимает путешествие как своего рода покаяние, потому дискомфорт и экстремальные условия ожидаемы и почти желанны (с. 187). Это искатели не приключений, а злоключений — из духа противоречия или по мировоззренческим причинам. Вордсворт не создает тип изгнанника или угнетенного путника, упрекающего общество в своих страданиях. В его текстах пропагандируются «моральные ценности общества, самодисциплина, националистические и имперские претензии» (с. 230). Этой не вполне привычной для наших представлений о романтизме позиции противостоит байронический путешественник — не пешеход, а мореплаватель, искатель необычайного здесь и сейчас, изгой и мечтатель (с. 271). «Искатели злоключений» в романтическую эпоху совершают своего рода проверку характеров. Духовная трансформация здесь вполне возможна; она обеспечивает «доступ к редким формам визионерской мудрости» (с. 274).

Столь многообещающих выводов не содержит работа Никола Дж. Уотсона «Литературный турист: читатели и места в романтической и викторианской Британии»¹. Однако именно эта книга находится на грани традиционного историко-литературного подхода к жанру и иных, междисциплинарных моделей. Анализируя, казалось бы,

¹ *Watson Nicola J. The Literary Tourist: Readers and Places in Romantic & Victorian Britain. Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2006. VIII, 244 p.*

известный материал из известных эпох, Уотсон задает новые стратегии. Может быть, это сделано несколько легковесно. Впрочем, данное исследование отличается от прочих и с точки зрения материала — Уотсон рассматривает не только то, что читают, но и то, как читают. Потребители литературы в определенную эпоху (от Руссо до Гарди) осознают связь чтения с определенным местом. И потому формируется практика посещения мест, связанных с конкретными книгами, чтобы насладиться и текстом, и пространством, и связью между ними. Феномен становится коммерческим (туризм в Стрэтфорде, в Эбботсфорде, в местах, связанных с именами Бернса, сестер Бронте и др.). На материале XX в. этот феномен уже освещался (вспоминаются многие тексты музейных работников), но само формирование литературного туризма впервые рассматривается так масштабно. Литературное путешествие анализируется в рамках литературных направлений: «дома с привидениями» (готика), «дамы и озера» (озерная школа) и т.д. Можно продолжить ряд: реалисты путешествуют в фабричные кварталы, а фантасты — в лаборатории и на полигоны...

Уотсон отмечает одну странность в самой практике связи текста и места — «чтение заменяется путешествием» (с. 5). Вообще связь академических штудий с туристическими осознается в рамках традиционных моделей как «проблемная». Постструктурализм провозгласил смерть автора и незначительность всего, находящегося за пределами текста. Что же делать с реальными местами, в которых разворачивались вымышленные действия или происходили важные события в жизни автора? Выясняется, что одного текста все-таки недостаточно: «Нетекстовые внешние реалии, такие, как автор и место, сохраняют значение для наивных читателей, ищущих чего-то в определенной географической точке» (с. 19), «серьезные» ученые от

этого отказываются. Впрочем, Уотсон не всегда претендует на серьезность.

Путешествие оказывается наивным жанром и рассматривается почти как наивная литература. Ландшафт рассматривается как текст. Для готических туристов актуальны поиски нереалистического опыта — одержимости, призрачности, присутствия исчезнувшего (особенно актуальная для литературного паломничества форма «туристской готики» (с. 8) — как во фразе экскурсовода: «Кажется, Пушкин только что вышел из этой комнаты...»), и это подчеркивает игровой характер осовремененного литературного вояжа. Практика «гуманитарных экскурсий», активно развивавшаяся в первой трети XX в., тоже связана с этими игровыми элементами (в России особенно активно она внедрялась в педагогике).

В жанровой системе травелоги выполняют прикладные функции. В конце XVIII столетия Уотсон рассматривает в основном специфические тексты — эпитафии, элегии, некрологи, посвящения и топографические поэмы; в начале XIX в. появляются путеводители, книги с картинками, дневники, рассказы о путешествиях для домоседов...

К 1880-м гг. появляются книги, посвященные практике литературных прогулок, дилетантским радостям вторжения в те места, где нечего делать другим туристам — «*Rambles 'en zig-zag' round London with Dickens*» (1886) Роберта Аллбута, «*Weekends in Dickens-Land: A Bijou Handbook for the Cyclist and Rambler, with Map*» (1901) Дункана Моула. И уже к началу XX в. наконец формируется полноценная литературная география, возникает идея литературной «земли» или «края», в котором авторы и герои книг существуют в магическом и документальном единении. Истории о таких краях объединяют ожидания, эмоции, предположения их создателей и потребителей. И туристы воображаемые становятся на одну доску с реальными. Как

утверждает Уотсон, литературное место создается описанием, опосредованным читательским туризмом, и в таком смысле литературное место само становится «текстом» (с. 12). Исследователь реконструирует образы читателей-туристов, восприимчивость которых связана с текстами литературными, околотурлитературными или вовсе не литературными, потребители которых пытаются воссоздать впечатления туристов. Выделены несколько моделей поведения таких читателей: воссоздание эмоций автора (в случае с Бернсом) или эмоций героев (Руссо), желание пройти по стопам Диккенса, увидеть призраки Бронте, выступить в роли «топографического детектива» (Гарди). В любом случае эта тенденция связана с ностальгией, с ощущением опоздания, с разочарованием, которое вынуждает возвращаться к тексту в самых разных формах.

Литературные путешествия должны восстановить традицию личного общения автора и читателя. Вопрос о романтизме или антиромантизме (реалистичности) таких травелогов связан с этой традицией, но возвращает нас в анализе жанра к прежним категориям. А вот последняя из поставленных задач уже имеет самое прямое отношение к постколониальным штудиям: как литературный туризм связан с развитием культурного национализма, с национальным каноном, созданием карты национального пространства, не ограниченного в данном случае Британскими островами. Частная интеллектуальная собственность вписывается в национальный ландшафт, а этот ландшафт становится «фиктивным».

Локализация автора и текста определяет разделение работы на две части. Первоначально рассматривается интерес XVIII в. к могилам поэтов, перерастающий в следующем столетии в интерес к колыбелям, домам и домашним призракам, а потом и к литературному фону, реальному или фантастическому. Тексты стимулируют читателей оп-

ределить и испытать на себе особенности места, или наоборот, место создается таким образом, что «обрастает воспоминаниями о писателе и его работах» (с. 20). Уотсон начинает с централизованного национального пантеона в Вестминстере, а потом обращается к могилам Грея, Китса и Шелли и к текстам, содержащим описания паломничеств в эти места. Далее вполне логичен переход к местам рождения (Стратфорд, Эллоуэй), которые выражают ту же идею — корни национальных поэтов связаны с их землей. Следующие главы — о домах писателей, «мастерских гениев». Эбботсфорд Вальтера Скотта был сознательно сконструирован и открыт для публики, как место работы национального автора, его «маскулинная триумфальность» противопоставляется «замкнутому регионализму» дома Бронте, описания которого тяготеют к готике. Неожиданно формируется на этом материале целый поджанр эссе о домах и призраках писателей.

Вторая половина книги связана с иным туристическим импульсом — желанием, связанным «с реалистическими нарративными стратегиями», отречься от автора как источника текста и «отыскать» вымышленных героев в реальном ландшафте. Женевское озеро становится объектом туристического внимания как фон «Новой Элоизы» (1761) Ж.-Ж. Руссо, а предпосылкой развития туризма на Лох-Кэтрин был успех поэмы Скотта «Дева озера» (1810). Завершается глава описанием «неудачного проекта» — романтизация Эксмора в «Лорне Дун» (1869) Р.Д. Блэкмора привлекла туристов, но они были разочарованы фантастической интерпретацией реальной топографии и отсутствием в реальности ярких ландшафтов. Наконец, анализ «туристических территорий», когда от отдельных текстов внимание переходит на литературные края, связан с Уэссексом Т. Гарди, местностью, уникальной и репрезентативной, поскольку во время создания книг она существовала, а позднее стала по

ряду причин «страной грез». В эпилоге речь идет о фантастических странах, обнаруживаемых в реальности — от Кэрролла до современных книг в жанре фэнтези; экзотические ландшафты тоже становятся туристическими объектами, хотя их связь с литературными источниками может быть и весьма сомнительной. Туризм в фантастическую страну — крайнее выражение сентиментальных привычек и стратегий, ассоциирующихся и с реализмом XIX в. Так что завершается все предсказуемо: экскурсией в Страну Чудес Кэрролла, расположенную в Оксфорде, и в сказочный мир Филиппа Пуллмана. Путешествие становится предсказуемо детским — что ж, все это только игра...

Совсем не игровой характер носит книга, позволяющая вплотную приблизиться к осмыслению постколониальных моделей травелога. В работе Брайна Йозерса «Роман о Святой Земле в американской литературе путешествий. 1790--1876»¹ исследуется соотношение ожидаемого и увиденного, давление уже опубликованных текстов и новые пути, которые открывает для себя каждый путешественник в Палестине. Развитие здесь кажется проблематичным — экзотический мир, строго установленные рамки... Хотя в книге в разряд «романов» попадают и путевые заметки: стремление к оригинальности видно почти во всех рассматриваемых текстах, однако большей частью оно стремлением и остается — литература путешествий тоже тяготеет к стандартизации.

Но есть малозаметное ограничение. При подобном подходе к материалу мы рассматриваем путевые тексты под определенным углом зрения: путешественник видит то, что хочет увидеть — и сами попадаем в положение путешественника. Отсылки

¹ *Yothers Brian. The Romance of the Holy Land in American Travel Writing, 1790–1876. Aldershot, UK: Ashgate, 2007. IX, 145 p.*

к «ориентализму» Э. Саида подтверждают амбивалентность травелогов. Интеркультурные контакты становятся важнейшей составной частью путевых текстов, и культурологические установки автора, по существу, исчерпывают специфику произведения. «Столкновение с Другим в Палестине — почти всегда столкновение со скрытыми ограничениями собственной культуры путешественника» (с. 3). История себя в других — вот что такое путешествие; однако эта история реконструируется довольно прямолинейно.

Йозерс обращается и к весьма обширному контексту, но специфически использует его. Так, тексты, принадлежащие к поджанру «в плену у варваров», «определяют контуры американского ориенталистского дискурса в XVIII в. В XIX столетии влияние столь же очевидно: увлечение восточными религиями в противовес христианству, использование «восточного деспотизма» как прикрытия для критики американской культуры, смесь восторга и отвращения по отношению к ближневосточным людям и местам. В русской литературе путешествий только последние два элемента проявляются со всей очевидностью. В американской же — это влияние позволяет провести развернутую дискуссию о формировании образа Святой Земли. В «Алжирском пленнике» Р. Тайлера (1797), наиболее амбициозном сочинении этого, сатира на политическую культуру США предвосхищает соответствующие пассажи Мелвилла и Твена. Не осмыслив основ американского ориентализма, нельзя в полной мере оценить специфику путевых текстов, так или иначе связанных с Востоком — в первую очередь текстов о Святой Земле. Травелоги оказываются теснейшим образом взаимосвязаны, их обособленное рассмотрение почти невозможно. Более того, многие авторы, в реальности не отправлявшиеся в путешествие, так или иначе выражали свой интерес к региону (Эмерсон, Уитман, Торо),

вплотную приближаясь к созданию травелогов. Йозерс рассматривает в этом ряду тексты Вашингтона Ирвинга, Марии Кемминс («El Fureidis», 1841) и восточные романы из журналов («Никербокер» и «Харперс»). Миссионерская активность ведет к созданию функциональных травелогов: религиозных трактатов, отчетов и т.д. Все это нужно учитывать, когда говорится, что литература путешествий, посвященная Святой Земле, распадается на три категории, соответственно ориенталистской традиции: интеллектуальная, считающая древние восточные культуры стимулом для философской спекуляции, популярная, связанная с любопытством к таинственному и чуждому, благочестивая, посвященная явлениям Божественной воли. Научная линия связана с археологией (сакральный ландшафт наиболее важен).

Следует, впрочем, учитывать, что подобные подразделения весьма условны. Евангелисты, о которых идет речь в книге, формируют особое представление о Святой Земле, в котором сентиментальное благочестие соединяется с эмпирическим скептицизмом (с. 19). Риторические восклицания, на которых строится описание святых мест, чередуются с выражением сомнения относительно аутентичности тех или иных ландшафтов; это усиливается в текстах людей, на которых уже оказали влияние предшествующие травелогеры; здесь Йозерс подходит к проблемам, исследованным в книге Уотсона, но увы — не анализирует их более серьезно. В один ряд в его работе попадают Уильям М. Томпсон, миссионер в Сирии, Эдвард Робинсон, специалист по библейской археологии, Уильям Прайм (тот самый, напыщенную сентиментальность которого пародировал Марк Твен). При этом ученые сочинения не грешат беспристрастием — в книгах Робинсона точные наблюдения «проверяются» шовинистическими сопоставлениями обитателей Святой Земли с американцами, а Прайм в кни-

ге «Жизнь в шатрах Святой Земли» объединяет сентиментальные рассуждения с утверждением культа «мускулистого христианина». Рассматривает Йозерс и сочинения представителей иных конфессий (Орсон Хайд, Клоринда Майнор, Уильям Х. Оденхеймер), но эти тексты, с одной стороны, совершенно неизвестны за пределами Соединенных Штатов, а с другой — вполне очевиден профетический элемент, в них содержащийся и их объединяющий. Критический пафос данных текстов связан с религиозным; травелог становится инструментом для решения конфессиональных проблем...

«Литературные путешественники» осуществляют отбор деталей, раскрывающих особенности местности, но в рамках жанра (даже с учетом принятых Йозерсом ограничений, возможны совершенно различные варианты обработки этих деталей). Можно задаваться вопросом о подлинности, а можно с юмором подмечать «особенности места», уходя от исторической полемики. И тексты, нацеленные на современность, куда ближе автору работы (да и жанровой модели).

Романисты, как и христиане различных конфессий, весьма отличаются друг от друга, тем не менее общность устанавливается легко. «Интертекстуальность» выражается в критике европейских путешествий, а личный опыт (уже не религиозный, а эстетический) выходит на первый план. «Благочестивая двойственность» (с. 62) — наиболее популярная позиция «профессионального» путешественника, которая выражается в таких текстах, как «Страна сарацинов» Байарда Тейлора (1852), «Путешествия в Египет, Аравию и Святую Землю» Джона Ллойда Стивенса (1837), «Письма с Востока» Уильяма Каллена Брайанта (1869). Мир по-прежнему воспринимается как «библейский», проводятся аналогии между сакральными текстами и сакральными местами, но состоятельность тех или иных интерпретаций не обсуждается; более того,

появляются ироничные намеки, дискредитирующие саму идею интерпретации.

Здесь напрашивается аналогия с намеченной еще в середине XX в. классификацией повествователей в древнерусских хождениях (паломник, деловой человек, землепроходец) — хотя в данном случае время ограничено XIX столетием, а культурная традиция совершенно иная. Но при внешних различиях определяется общая жанровая структура; в результате исследование литературы путешествий становится более масштабным. А далее рассматриваются тексты, в которых юмористический элемент выходит на первый план: «Восточные происшествия» Де Фореста (1856), «Юсуф, или странствие Фаранги» Брауна (1853), «Простаки за границей» Марка Твена (1869). Претензии прежних путешественников дискредитируются, возникает новый тип автора, искреннего до бесстрашия, особенно когда сталкивается с благочестием. На смену принятому на веру мнению приходит мнение осознанное и обдуманное. Ирония (особенно в случае Твена) приводит и к самоиронии; путешественник не застрахован от неудач, а многие его убеждения окажутся ошибочными. Однако даже «скептицизм Твена не является драматическим отступлением от стандартного описания Святой Земли» (с. 105) — в этом Йозерс решительно порывает с традиционным истолкованием¹. Дело в том, что автор «Простаков за границей» подчеркивает неавторитетность собственных суждений, потому «старые» описания остаются более заслуживающими доверия.

В финальном разделе, посвященном Мелвиллу, исследователь демонстрирует синтез всех описанных ранее стратегий путевого письма на примере

¹ См.: *Melton J.A. Mark Twain, Travel Books, and Tourism: the Tide of a Great Popular Movement. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2002.*

романа в стихах «Кларель» (1876), наряду с включением в текст «иных голосов», выражающих точку зрения, внешнюю по отношению к позиции «американского протестанта» (с. 110). Такой синтетический подход обеспечивает исследователя красивой кодой, но не сообщает читателю ничего нового о перспективах изучения травелогов. Масштабных выводов авторы, остающиеся на грани традиции, как правило, избегают. Их делают сторонники новых, междисциплинарных моделей. В случае с литературой путешествий речь сразу заходит о постколониализме. И здесь обнаруживается весьма обширный спектр исследовательских пристрастий, заслуживающий подробной характеристики. Ибо стремление выйти за рамки историко-литературных схем приводит к появлению описаний жанра, основанных на иных социологических и антропологических предпосылках.

В книге Сьюзен П. Кастилло «Колониальные взаимодействия в текстах о Новом Свете. 1500–1786»¹ основное внимание уделяется категориям «performance» (сценическое действие) и «performativity» (перформативность) в текстах раннего колониального мира. Рассматривается великое множество полифонических и ролевых текстов, связанных с ранней Америкой, то, как эти тексты позволяли исследователям, поселенцам и местным жителям осмыслить различия в языке, поведении и культурных практиках. В основном перед нами — диалоги, пьесы и околотеатральные сочинения, но предпосылкой для них является путешествие. И литература путешествий — все элементы «полифонии», позволяющие представителям разных культур осмыслить, что же определяет существо этих культур. Как видим, схема совершенно меняется:

¹ *Castillo Susan P. Colonial Encounters in New World Writing, 1500–1786: Performing America. L.: Routledge, 2006. X, 276 p.*

от анализа сюжетов исследователи обращаются к анализу исходных задач.

Полифонические, «многоголосные» тексты важны не только для выражения невыразимого (взаимоисключающих позиций, противоречивых идей и др.), но и как пространство уничтожения культурных различий. Такой итог путешествия подразумевается, но путь к нему — долог. Столкновение культур рождает какофонию в текстах, появляющихся на этом стыке. Преодоление ее обнаруживается в путевых текстах, которые могут рассматриваться как полифонические, особенно в тех случаях, когда содержат и точку зрения «местных», и оценки «стороннего наблюдателя». Кастилло выделяет следующие перформативные установки, отраженные в конкретных главах: бог и Мамона, история, благородный дикарь, креол («образы индивидуальной и коллективной идентичности, в которых авторы раннеатлантического мира пытаются определить, что значит быть американцем, европейцем или обоими», с. 18). Исследовательница указывает четыре ключевых аспекта путевого текста: бэкграунд исторический и философский, образ другого и синтез, долженствующий увенчать конструкцию. У Радищева в «Путешествии из Петербурга в Москву», к примеру, есть религиозные убеждения, есть историческое обоснование реформ, есть образ «мужика» и совершенно удаленный от реальности образ «народа». Материал XVI–XVIII вв., которым оперирует Кастилло, более разнообразен (следует обратить особое внимание на языковые барьеры и пути их преодоления), однако «полифония» сводится к столкновению разных взглядов. Литература путешествий сталкивается с литературой о путешественниках: «по формальным признакам тексты притягательны равно для европейцев, озабоченных вопросами места, идентичности и выживания, и для местных авторов, пытаю-

щихся понять поведение пришельцев и выразить свое отношение к происходящему» (с. 4).

В таком расширенном понимании травелог полностью соответствует определениям, данной в принципиально важной для постколониальных исследований книге Мэри Луизы Прэтт «Глаза империи: литература путешествий и транскulturация». Текст становится не описанием иного места, а определяет зону контакта, «пространства, в котором люди географически и исторически разделенные вступают в контакт и устанавливают отношения, обыкновенно связанные с принуждением, радикальным неравенством и трудноразрешимым конфликтом»¹. Колониальные практики рожают совершенно иной подход к травелогам. Однако анализ в рамках этого подхода, пусть и продуктивный, весьма ограничен тематическими рамками и не позволяет успешно интерпретировать тексты, скажем, относящиеся к Российской империи (колонии в составе государства). В работе Кастилло «зона контакта» позволяет охарактеризовать весь спектр художественных вариантов путешествия. Для полного освещения вопроса необходимо привлечь не только европейские источники (пьесы испанских авторов) и тексты колонизаторов («История Индий» Лас Казаса), но и оригинальные памятники колонизируемого населения — разумеется, в тех случаях, где они сохранились.

Например, Лахонтен представляет гуронов обитателями рационалистической Аркадии, по контрасту со своими соплеменниками, «ограниченными религиозными догмами и неспособными осмыслить подлинность пережитого опыта» (с. 174). Но все равно перед нами взгляд со стороны: Лахонтэн говорит на языке гуронов, он участвует в их обрядах, посвящен в некоторые тайны жизни племени,

¹ *Mary Louise Pratt. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. L.: Routledge, 1992. P. 6.*

но он чужой, и его «непредвзятый» взгляд остается взглядом путешественника. Именно этим и создается единство жанра, которое книга Кастилло затемняет, но не разрушает. Роман Карио де Вандеры «Путеводитель для слепых путников» — литература путешествий и пикарескный роман одновременно, при этом он включает в себя и диалог. Текст написан от лица вымышленного путешественника (Конколоркорво), который начинает с отсылок к апокрифическим сочинениям о дальних странах, уравнивая «путешественников» и «лжецов». Однако ценность этих «сказок» в качестве исторических свидетельств оказывается столь же велика, как ценность архивов европейских историков. Для «слепых» историков путешественники оказываются «поводырями» (с. 205).

Хотя книга Кастилло посвящена контакту, столкновению культур, но не одна пограничная ситуация определяет существо всякого травелога. Характеристика идеологических и культурных норм все равно составляет основу литературы путешествий — в той или иной форме; отсюда — цельность жанра при внешнем разнообразии форм.

В целом же постколониализм имеет дело не с реальными путешествиями, а с картами этих путешествий. Название статьи Кристи Л. Бернс «Постколониальные картографии»¹ уже о многом говорит — рассматривается не травелог как таковой, а отвлеченное осмысление природы места. Нечто подобное присутствует и в книге Лизы Ламперт-

¹ *Burns Christy L. Postcolonial Cartographies: The Nature of Place in Joyce's Finnegans Wake and in Friel's Translations // Joyce, imperialism, and postcolonialism / Ed. by Leonard Orr. N.Y.: Syracuse University Press, 2008. С. 127-146.*

Уэйссиг «Средневековая литература и постколониальные исследования»¹.

Здесь представление о Европе как о «темном континенте» связано с усложнением временных рамок: карта прошлого становится частью будущего, память оказывается бесконечной, а «над страной живых простерты руки мертвых». Тем самым литература путешествий для большинства постколониальных исследований оказывается темой маргинальной: отдельные тексты могут быть отличными иллюстрациями, но концепция травелога не является привлекательной.

Иной подход к установкам постколониализма (более полемичный) обнаруживается в работах Джеральда М. Маклина, книга которого «Взгляд на Восток: английская литература и Османская империя до 1800 года»² развивает идеи, заявленные в его работе «Развитие восточных путешествий» (2004). При этом исследователь дистанцируется от «Ориентализма» Э. Саида, поскольку рассматривает «пограничную» Османскую империю, о которой западному человеку очень много известно. Конечно, постколониальные установки препятствуют воспроизведению в научных текстах ошибок путешественников (скажем, многие исследователи травелогов продолжают именовать всех мусульман турками), но расширение временных границ показывает, что метод не универсален и скорее мешает целостному последовательному описанию литературы путешествий.

Ориентализм основывается на описании несуществующего «Востока», путешественники отправ-

¹ *Lampert-Weissig Lisa*. Medieval Literature and Postcolonial Studies. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. 256 p. (Postcolonial Literary Studies).

² *MacLean Gerald M*. Looking East: English Writing and the Ottoman Empire before 1800. N.Y.: Palgrave MacMillan, 2007. XIX, 300 p.

ляются в реально существовавшую Оттоманскую империю. С этим противоречием и разбирается Маклин. Англичане, их торговля и культура весьма незначительно повлияли на обитателей восточной империи, в то время как обратное влияние, особенно в ранний период, весьма очевидно. Для многих исследователей отношения «Запад-Восток» (и в первую очередь в путевых текстах) строятся на базе взаимности, диалогичности, обоюдности и т.д. Тем самым, как подчеркивают сторонники постколониалистских концепций, осуществляется освобождение от сосредоточенности на конфликте и несоразмерности. Здесь Маклин совершенно солидарен с предшественниками: на имперские амбиции британских путешественников существенно влияют впечатления, вывезенные из Оттоманской империи. И построение новой империи невозможно без репрезентации опыта прежней; такова функция многих травелогов.

Однако далее Маклин демонстрирует особенности своего подхода: он описывает специфическую «имперскую зависть», которая в XVI--XVIII столетиях развивается лишь на базе путешествий; здесь комбинируется восхищение с презрением, страх с очарованием, желание с отвращением.

Европейские нации не всегда выступают в качестве «имперских хищников»; отношения с Востоком оказываются сложнее, чем они виделись Саиду. Это касается как отношений подлинных, так и воображаемых. Здесь восторг и отвращение касаются чужой империи, а своя — лишь предполагается. И путешественник, будь он профессиональным литератором или мемуаристом, создает «воображаемую структуру», амбивалентную и полную смысла — англичане начинают переосмыслять себя как британцев только в связи с впечатлениями от чужого; к этому и сводится сюжет большинства травелогов (с. 245).

Вступительные главы книги посвящены первым столкновениям с Османской империей, торговым и дипломатическим, а также влиянию первых путешествий на читателей-англичан. Далее рассматриваются оценки империи и ее обитателей, становящиеся частью осмысления «собственного места в мире» (с. XI). К началу XVIII столетия становление Британской империи совершилось, и одновременно проявилось осознание равенства с империей восточной, если не превосходства над ней. И наконец, последние главы посвящены столетию дипломатических, стратегических, торговых союзов, когда на сцене появляются уже американские авторы, дающие подчас уничижительные оценки не только туркам, но и прочим нациям, не принимающим американского типа «свободной торговли». Для идеологов (таких, как Дэвид Хамфрис) коммерческий успех является доказательством божественного благоволения; однако параллельно продолжает развиваться и «британское самодовольство», отраженное в позициях путешественников. Обзор логично завершается «сардоническими впечатлениями Байрона, представляющего, как выглядят британцы в глазах путешественника с Востока» (с. XI).

Глобальные процессы управляются не религиозными, а коммерческими принципами, о чем и свидетельствуют путевые записки. Имперская годость заменяет имперскую зависть, этот процесс отражен в наиболее интересных для Маклина текстах, демонстрирующих «осведомленность и снисходительность» — таковы сочинения Аарона Хилла, Александра Драммонда и др.

Наиболее подробно рассматриваются не похождения авантюристов и изгнанников на Востоке, а совершенно иное, менее увлекательное, но более значимое — Маклина занимают взгляды обычных представителей империи. Восточные впечатления остаются узнаваемо английскими. Путешествен-

ник, вынужденный действовать, обращается к практикам того, как «быть другим», отличным от того, чтобы просто быть (с. 97).

В этой связи история «пленников» тоже обретает иной интерес: Маклин подробно исследует два описания восточного плена, книгу Раули (1570-е) и «Приключения» Т.С., появившиеся столетием позже. За это время публикации о пленниках превратились из перепечаток дипломатической корреспонденции в многоликий жанр, «где вопросы национальной идентичности ставятся в терминах сопоставления и в глобальных контекстах» (с. 101). Обе истории связаны с «сексуальным телом» — первый пленник становится евнухом, второй одерживает великие победы в гаремах. Различие между евнухом и «жеребцом» рассматривается как формирование новой системы культурных приоритетов (телесное важнее духовного — для путешественников и для их аудитории). Границы «рабства» деформируются, телесное начало требует «действенных оформлений» (с. 118).

Интересно анализируется изменение фокуса национальной идентичности в его перформативном и условном аспектам. В «Христианине, ставшем турком» Роберта Дэборна (1612) обращение в ислам демонизируется; у урожденного англичанина, с какими бы чудесами он не встретился на востоке, нет возможности изменить национальность, выйти за ее моральные и религиозные рамки. Пьеса, имевшая в Лондоне огромный успех, демонстрирует двойственное воздействие имперской зависти (с. 123). Стать турком не получается, путешественник может пытаться, но ничего у него не выйдет. Остается принять чужой опыт и строить, отталкиваясь от него, свою империю.

Опыт этот может быть связан не только с поведением людей. Один из интереснейших разделов работы Маклина посвящен оттоманской фауне,

предстоящей в травелогах в разных обличьях и классифицируемой так:

опасная: 1) микробы; 2) насекомые и другие «паразиты»; 3) змеи и ящерицы;

известная и/или полезная: 4) мелкие домашние животные (кошки, собаки); 5) выючные или используемые в пищу (ослы, мулы, лошади, верблюды, овцы, свиньи); 6) птицы и звери, используемые в играх;

экзотическая и /или легендарная: 7) экзотические создания в воде и в небе; 8) импортируемая экзотика: жирафы, крокодилы, львы, слоны; 9) легендарные и вымирающие — драконы, единороги и т.п.

В целом это отражает всю структуру путешествий — более того, соответствует жанровым признакам — от древнерусских хождений до европейских текстов XX в. Фауна отражает структуру Оттоманской империи, а империя воспроизводится на уровне животного мира. Для путешественника все едино: этот синкретизм тоже жанровое условие, мимо которого большинство исследователей проходит.

Интересны с позиций полемики с потсколонизмом и такие тексты, как сочинения Генри Блаунта, для которого путешествие по Оттоманской империи в 1630-х гг. становится частью «опыта личной реконструкции» (с. 180), который начинается с отказа от нормативных домашних ограничений и предпочтений, выхода за пределы религии и национальной идентичности. Империи еще нет — выход возможен. Блаунт не рассматривает место действия как «ориентализованное пространство, ожидающее западного вторжения»; этот мир европейским путешественникам следует понять, отказавшись от стереотипов и культурных ожиданий, как раз и формируемых в травелогах. То есть путевой текст оказывается как бы отрицанием путевых текстов. Наиболее типичны, разумеется,

иные воззрения. Маклин много пишет о Фрэнсисе Осборне, Генри Марше, Поле Рико, для которых (в 1650--1660-х гг.) бесспорна роль Британии на мировой сцене, но и значительность Османской империи требует адекватной оценки угрозы со стороны турок и выгод от возможного сотрудничества (с. 197). Путешествие в конечном итоге сосредотачивается не на «другом», а на общем — в данном случае на основе образа врага строится образ англо-османского альянса.

Байрон своими комментариями корректирует впечатления героя-иностранца, для которого лондонским «обществом» и ограничивается вся Англия: «...смесь древнего происхождения и новых денег — единственный класс, который имеет значение» (с. 241). Таков взгляд путешественника на империю. Но разве первые впечатления от Османской империи не были столь же ограниченными? И разве развитие «имперского сознания» не ограничивает внешних форм национальной идентичности? Выводы, к которым приходит ученый, не слишком оптимистичны. Исчезновение «духа страны» неизбежно, когда путешествие становится только оболочкой; парадоксальным образом эта оболочка интересует Саида и его последователей и не занимает Маклина — здесь ему писать не о чем.

Игра с реалиями завершается, остаются прописанные роли, но с жесткой схематичностью постколониального мира можно поспорить. Это удобно делать на основе сборников путевых текстов. Из нескольких антологий, вышедших в последние годы, пожалуй, наиболее интересна одна из наименее известных, посвященная южным морям¹. В ней предлагается очень четкая классификация на основе целей путешествия: остров как Эльдorado и

¹ Strangers in the South Seas: The Idea of the Pacific in Western Thought: An anthology / Ed. by Richard Lansdown. Hawaii: University of Honolulu press, 2006. 272 p.

обиталище благородных дикарей, остров как затерянное мрачное место, свидетельство видового богатства, остров как колония (функциональное отношение к цели путешествия), и наконец — разочарование («От Ноа-Ноа до атомной бомбы»). К сожалению, собственно анализ «идеи острова» во введении чрезмерно краток и скорее мешает пониманию четкого сюжета антологии.

Снова и снова остров фигурировал в европейском сознании как место, где человеческий потенциал не стеснен повседневной жизнью, где морское путешествие оборачивается отказом от культурного, морального, социального, психологического, исторического багажа и открывает новый жизненный эксперимент. «Странное и незнакомое — в сознании путешественника и вне его, живое и неживое, человеческое или природное — встречает нас на островах» (с. 11). Экзистенциальная ситуация противопоставлена составителем антологии Лэнсдауном «большой картине» — и выбор сделан в пользу первой, в итоге мы получаем «археологию в текстах», хотя потенциально эти тексты могли бы составить основу более широкой гуманитарной модели.

На создание подобной обобщающей модели нацелены исследования не имперского, а космополитического сознания, позволяющие по-новому концептуально переосмыслить травелоги. Среди них — книга Марка Реннеллы «Бостонские космополиты: интернациональные путешествия и американские изящные искусства»¹

Уменьшение различий между «американским» и «иностранным» здесь рассматривается как результат практики путешествий. Однако космополитизм весьма специфичен: он склонен видеть родную

¹ *Rennella Mark. The Boston Cosmopolitans: International Travel and American Arts and Letters. N.Y.: Palgrave MacMillan, 2008. 288 p.*

культуру одной из отраслей общечеловеческой культуры (с. 2). Американские художники связаны с культурной историей Европы, и космополитизм, не связанный национальными ограничениями, предоставляет широкие возможности — именно их обрисовкой и ценны рассматриваемые травелоги. Концепция постэтнической Америки (Дэвид Холлинджер) рождается как протест против национальных ограничений, однако книга Реннеллы — не полемическая; его больше интересует «полезность» космополитических построений, заявленных в книгах У.Д. Хоуэлса, У. и Г. Джеймсов и других авторов, так или иначе связанных с Бостоном. Регион выбран весьма благоприятный: Бостон связан и с Востоком, и с Европой, здесь сталкиваются самые экзотические культуры. Но ограниченность, свойственная большинству национальных культур, проявляется и в Америке, здесь «солипсизм остается достаточно сильным, поскольку американцы верят в свою национальную исключительность, основываясь в том числе и на физическом удалении от иных культур» (с. 11). От сознания исключительности космополиты уходят, но заявленная в травелогах англофилия — лишь обратная сторона той же монеты. Реннелла как будто игнорирует тот факт, что признание английской исключительности — как бы развитие идеи исключительности собственной. Американец, преклоняясь перед Англией, представляет себя продолжателем величайшей из культурных традиций. Однако предлагаемая концепция достаточно стройна. Начинает автор с развития морских путешествий на паровых судах после Гражданской войны в США; именно так старейший из космополитов Бостона, Чарльз Элиот Нортон, совершил путешествие из Ливерпуля в Бостон в 1873 г. Отчет об этом путешествии особенно интересен из-за встречи его на корабле с Р.У. Эмерсоном. Десять дней, проведенные рядом с выдающимся писателем, изменили Нортон и под-

толкнули его от трансцендентализма Эмерсона к космополитизму. А представители следующего поколения бостонцев, многое узнав от Нортон, уже использовали путешествие как средство для стимулирования собственных творческих стремлений. Во второй половине книги контекст расширяется: литература, живопись, скульптура, архитектура демонстрируют многообразие форм путевого опыта, способствующего развитию космополитизма в американском искусстве. Преимущества культурного разнообразия, приятное чувство дезориентации в незнакомом месте, радость досуга, растущий интерес к прошлому и главное — критический взгляд на силы и слабости американской культуры — вот основные идеи, вынесенные из путешествий героями книги Реннеллы (с. 12). Финалом их исканий (и финалом трагическим) стала Первая мировая война. Однако хронологическая ограниченность сюжета не мешает масштабности анализа космополитических травелогов.

Поэзия движения, о которой неоднократно упоминал Генри Джеймс, приводит к взлету творческой продуктивности (удивление и открытие как базовые категории). Автор опирается на концепции антрополога Виктора Тернера, но при приложении их к литературоведению выводы получаются несколько тривиальными: «...занимая пороговое пространство, пилигримы, как группа равных, осознают потенциал общности, спонтанное формирование симпатии и потенциального братства со спутниками» (с. 22). Разнообразие путешествий и вариантов их фиксации даже мешает в данном случае созданию стройной схемы — и Реннелла не пытается классифицировать все поездки (художественные, познавательные, деловые, индивидуальные, групповые и т.д.). Вместо этого он предлагает описание эволюции общих принципов и различные варианты художественного отображения результатов путешествий. Журнал «Атлантик мансли»,

включающий раздел «Литературная жизнь» (фрагменты частной переписки с заокеанскими корреспондентами и частных бесед с вернувшимися путешественниками), дает интересный материал для конструирования «космополитизма», как и рассуждений о американских художниках, получающих или не получающих признание в Европе.

При этом, как ни странно, последний роман Генри Джеймса, где тема путешествия получает универсальную трактовку, в работе не рассматривается. Джеймс написал историю бостонских космополитов «Уильям Уэтмор и его друзья», а на склоне лет создал историю преодоления времени — незавершенную книгу «Чувство прошлого». И то, как путешествия в пространстве привели писателя к новому пониманию времени, весьма интересно...

Путешествия за пределы Европы интересны по своему: утрата направления сочетается с утратой культурных ориентиров (Джон Ла Фарг в Японии). Но так же любопытны и путешествия, скажем, в Нью-Йорк, который бостонцы воспринимают как город иностранный (Бэзил Марч из романов Хоуэлса). Пороговое пространство важно и в романах, и в очерках. Хоуэлс помещает Бэзила в «пороговое пространство», создаваемое путешествием и демонстрирующее уникальность способностей тех, кто обретает опыт странствия. И близость Бэзила с иммигрантами в вагоне пригородного поезда становится результатом понимания, что демократия Нового Света избавляет от тягостных страданий и бедности (см. с. 74--75).

Литература — одна из форм изложения опыта, и потому рассказ о ней приобретает некоторые специфические черты — автора занимают лишь автобиографические (и квазиавтобиографические) тексты. Именно в них раскрываются «все более сложные аспекты космополитизма» (с. 79). Книги Хоуэлса, «Случайная встреча» (1874), «Спальный вагон» (1889) и «Особый вагон» (1889), описывают потен-

циальное возбуждение, удивительную близость с другими пассажирами — и это гораздо важнее, чем собственно внешние впечатления. Попытки понять других, отличных от путешественника людей, выражены и в произведениях Генри Джеймса. Сравнивая «венецианские» тексты Хоуэлса («Венецианская жизнь», 1866) и Г. Джеймса («Часы в Италии», 1909), Реннелла демонстрирует общность метода — впрочем, весьма очевидную. А осмысление и критика американского образа жизни предсказуемо рассматривается на примере «Американских сцен» Г. Джеймса, созданных после визита в США в начале 1900-х. «Многообразие религиозного опыта» Уильяма Джеймса — текст, теснейшим образом связанный с травелогами как попытка преодолеть национальные ограничения, а не просто обратиться к наболевшим «мировым проблемам» (с. 79). Опыт преодоления во всех случаях индивидуален, обобщать его в литературе путешествий не удастся; как следствие, не удастся и исследователю осуществлять масштабные обобщения — особенно на уровне исследований литературоведческих. «Слова неразрывно связаны с описанием жизней человеческих существ, многообразие опыта (описанное У. Джеймсом) превосходит возможности словарей, которые являются продуктами прошлых эпох. Обращение к иным формам искусства должно преодолеть ограниченность языка. Потому художественный опыт космополитов раскрыт интереснее, чем специфически литературный (с. 110). Ограниченность подобного общего анализа очевидна, ибо приводит литературоведа, отступающего от своего предмета, к очень упрощенным объяснениям: «Ограниченность космополитов была результатом привилегий класса и образования, которые создали барьеры, более трудные для преодоления, чем расстояния, разделяющие нации. Космополиты не были прогрессивны в некоторых социальных и политических вопросах, но образование и

опыт помогли им стать пионерами в ином» (с. 179). Отсюда один шаг до дежурных рассуждений о выборах 11 сентября — и этот шаг сделан автором (он называет своих героев «первыми глобалистами»). Несмотря на эклектичность интересов бостонцев, можно сделать вывод о едином направлении движения — от поисков универсальных истин к воспитанию универсальной толерантности (с. 211).

Впрочем, междисциплинарные исследования травелогов не ограничиваются осмыслением художественного контекста. Интересный поворот теме придает антропологическое освоение литературы путешествий, открывающее совершенно новые возможности. Этот «взгляд со стороны» выводит нас за пределы «жанровых особенностей» и раскрывает более существенные свойства путевых текстов — пусть и не на самом востребованном сейчас материале. В сборнике «Литература, путешествие и Империя. У границ антропологии»¹ основное внимание уделено «не-идентификациям», преградам, за которые выходит научная дисциплина в попытках избежать усложнений истории антропологии и объяснить конкретные связи этнографии, литературы путешествий и Британской империи. Все это касается не только антропологии, но и филологии. Более того — исследование пограничных ситуаций позволяет уйти от прямолинейного изложения биографий и обстоятельств. Восемь глав книги посвящены людям, «существовавшим под эгидой империи» — от экспедиции Королевского географического общества, в которой в 1837 г. принял участие Джордж Грей, до книги, выпущенной Томом Харриссоном столетие спустя. Речь идет о путешествиях в пределах империи, од-

¹ Writing, Travel, and Empire. In the Margins of Anthropology / Ed. by Peter Hulme and Russell McDougall. L.: I.B. Tauris, 2007. X, 246 p. (International Library of Colonial History. №. 10).

нако исследование не ограничено традициями постколониализма. Рассматривая журналы, дневники, официальные отчеты, письма, стихи, романы, автобиографии как источники этнографической информации, мы не получим четких характеристик травелогов. Ведь нужно еще провести грань между результатами полевых исследований и «кабинетными» текстами — все они читаются как описания путешествий. Первая попытка приблизиться к осмыслению эстетического потенциала этнографических текстов была сделана Джеймсом Клиффордом и Джорджем И. Маркусом в сборнике «Описывая культуру: Поэтика и политика этнографии» (1986), хотя там литература путешествий — только один из объектов интереса. Этнография кажется далекой от литературы путешествий, но только кажется. Переосмысление контактов имперского, колониального Запада с иными культурами в рамках постколониальных штудий демонстрирует необходимость междисциплинарных подходов. Имперские травелоги в историко-культурном контексте осмыслены как особый подвид, в котором этнографическое содержание, выходящее на первый план, получает специфическое осмысление, «биография превращается в некую траекторию перемещения в пределах империи и способ переноса колониального опыта из одних условий в другие» (с. 10). Отсюда — преимущественно внешний интерес к биографиям антропологов, а путевые тексты рассматриваются как их отражение.

Литература путешествий и антропология схожи в своей открытости к текстовой проблематике идентичности, с ее постоянными перестановками, расхождениями и последовательностями; замечание Клиффорда Гиртца о возможности для антропологов «думать о туземцах, фактически сочиняя жизнь самого исследователя, подразумевает то же сложное положение, в которое попадает автор тра-

велого или прибывающий в колонию на постоянное жительство чиновник» (с. 8).

Внимание авторов сосредоточено на маргинальных фигурах британской антропологии; однако эти «периферийные» персонажи оказываются центральными, когда речь заходит о профессионализации «полевых исследований», когда за их рамки выносятся сочинения администраторов и путешественников и совершается «отделение этнографической практики от колониального контекста» (с. 14). Тем самым пределы литературы путешествий — та проблема, которая позволяет ответить на многие вопросы, связанные и с историей гуманитарных наук. Скажем, сэра Джорджа Грея (1812--1898) — не ученый, а крупный чиновник, и его видение колониального пространства связано с моделированием собственной карьеры. Рассказывая о своем «взлете», он повествует и о «подъеме» местного населения; «движение» в данном случае — путешествие по карьерной лестнице (героя) и восхождение к высотам цивилизации (окружающих его туземцев) (см. с. 37 и далее). Разумеется, эта модель повествования не является единственно возможной — речь идет о множественности вариантов «антропологического повествования в литературе путешествий». И потому может показаться, что перед нами коллективная монография. На самом деле авторы сосредотачиваются на различных аспектах деятельности антропологов. Если в статье о Грее обсуждается взаимодействие «научного» и «административного» в антропологических текстах, то в разделе о Г.А. Роте рассматривается влияние, которое его книги о Тасмании оказали на позднейшие представления об этом регионе. Таким образом, актуализация путевых текстов выходит на первый план; постколониальное изучение литературы путешествий часто используется для аргументации новейших научных концепций за пределами филологии. Так, три книги Рота сто лет

спустя после публикации приобрели особую популярность — во время ожесточенных научных дискуссий о прошлом Австралии. Рот написал о регионе, где никогда не бывал — и современники воспринимали его текст как кабинетный. Но через много лет биографические обстоятельства представлялись менее значительными, а книги об аборигенах Тасмании определенно читаются как травелог.

Читателей путевых текстов, разумеется, гораздо больше, чем читателей ученых трудов. И в этом контексте понятны надежды рецензентов, что детальные описания нравов «странных» могут возбудить интерес мифического «обычного» читателя (с. 47). Увы, изучение читателя, столь продуктивное в данном случае, практически не получает распространения. Любопытная вещь: читатель этнографического текста — чаще всего сам путешественник, потому даже кабинетное сочинение рассматривается как травелог.

Тексты Флоры Стил (романы, рассказы, мемуары) созданы большей частью с образовательными целями, и Ральф Крейн в своей статье рассматривает именно этот аспект сочинений из англо-индийской жизни. Он также поднимает знаковый вопрос — о сосредоточении на «традиционных» индийских сказках; этот интерес к традиции также использовался, чтобы усилить авторитет цивилизующей империи (с. 78).

Причудливые трансформации путевых текстов иногда не поддаются никакой классификации: Эверард Им Турн прочел лекцию о своем путешествии в Южную Америку; одним из слушателей был Артур Конан Дойл — и отчет о горах Венесуэлы стал источником «Затерянного мира». Фантастическую книгу знают почти все, реальное путешествие известно немногим историкам. Им Турн написал достоверный и увлекательный отчет о нем, хотя авторитет создателя книги «Среди индейцев в

Гвиане» весьма сомнителен — путешествие по границам антропологии, художественной литературы, политики и географии заводит в тупик. Главы «популярные» и «специальные» оказываются трудно совместимыми. Для Им Турна единственный путь вперед — развивать ресурсы колонизованных стран во благо всех обитателей, полагаясь на частную инициативу, а не на сохранение обычаев страны (с. 104). Схемы в травелогах чаще всего просты, материал — еще чаще — им противоречит. И разные формы взаимодействия интенции автора и материала лишь в антропологическом дискурсе могут получить должное освещение.

Антропология оказывается пограничной дисциплиной, и тексты о «пограничном» опыте вписываются в рамки науки. Здесь травелоги могут соотноситься с научно-фантастическими произведениями — не только «путешествиями» («Левая рука Тьмы» У. Ле Гуин), но и опытами футурологической антропологии («Чужак в стране чужой» Р. Хайнлайна).

«Фикционализация антропологии» у Хайнлайна уподобляется «Затерянному миру» Конан Дойла как одно из проявлений положения антропологии на грани науки, с легкостью переходящей от формы монографии к форме травелога. Но сохраняя многие черты научного текста, этот травелог обнажает и жанровые особенности, и варианты их развития. Антропология зарождается и существует на границах империи, путешествия совершаются по этим границам — тем самым постколониальные штудии дают возможность универсального прочтения травелогов, но при этом существенно ограничивают наши представления о путешествиях.

Редакторы так формулируют проблему: «Полезно ли обсуждать Белл и Стил в сравнении с лидерами Теософского общества, м-м Блаватской и Анни Безант, и с их формами ориенталистского письма? Не здесь ли предел осмысления индивидуальных

трудов и биографий, которое требует контекстуализации в сравнении дискурсов и социальных отношений, в которых эти дискурсы практикуются?» (с. 225--226). Можно соотносить опыты Бронислава Малиновского с сочинениями Хаггарда и Конрада («привлекательными для читателя в экзотическом смысле») и отделять их от литературы как «науки». Маргинальность антропологии по отношению к литературе очевидна для антропологов; для литературоведов ситуация, очевидно, будет обратной. И определять «степень научности» довольно сложно. Был ли Роджер Кейзмент неудачливым антропологом или поэтом или кем-то, «опиравшимся на концепцию национальности Гердера, чтобы наполнить смыслом свою — тоже маргинальную — государственную деятельность?» (с. 229).

Путешествие оборачивается для исследователей, как и для читателей, альтернативой реальной жизни; об этом пишут и постколониалисты, так что внешние ограничения оказываются надуманными. Но в новейших условиях литература путешествий вписывается в иной контекст; она становится частью «сферы потребления», тем более что в науке уже принято определение «туристические культуры». Им посвящена недавняя книга Стивена Виринга, Деборы Стивенсон и Тамары Янг «Туристические культуры: идентичность, место и путешественник»¹.

Здесь позиции туриста и путешественника уже уравниваются; создается новое пространство для функционирования путевых текстов. Аспекты существования туристических культур очевидны: реальный опыт, идентичности, «другие», пространство и его репрезентации, глобальное и локальное. Путешествие для удовольствия и рассматривается

¹ *Wearing Stephen, Stevenson Deborah, Young Tamara. Tourist Cultures: Identity, Place and the Traveller. Los Angeles, Calif.; L.: Sage, 2010. VI, 169 p.*

под соответственным углом зрения. Туристическая культура требует развлекательных текстов. Эволюция тоже проста — от фланера (существующего в пространстве отдыха) к «хорастеру»¹ (обитателю «платоновского пространства между бытием и становлением <...>, переходящему культурные границы») (с. 18).

Идея третьего пространства, выдвинутая в работах Эда Соджа, для исследователей «новой культуры» оказывается полезной. Особый воображаемо-реальный тип пространственного сознания, превосходящий существующие дуализмы, но вступающий с ними диалог — такова концепция «третьего пространства». «Хорастер» (путешественник) — не фиксированная идентичность, а метафорическое воплощение таких пространственных категорий и путевых опытов, условных и изменчивых, полных смысла и живых (с. 136). Новый туризм основан не на статике достопримечательностей, а на «жизни» мест; в эту жизнь погружается турист. Перенести ее на бумагу сложно — травелог превращается в рекламу или отчет. Но это не значит, что исследования литературы путешествий прекращаются в связи с исчезновением предмета исследований. Просто меняется точка зрения.

И в этой связи стоит напомнить о расширении пределов культуры. Это не связано только с формированием культур туристических; литература путешествий и в предшествующие эпохи куда более разнородна в культурологическом отношении. В кембриджском путеводителе по литературе путешествий рассматриваются и научные отчеты, становящиеся поэмами, и коммерческие сводки,

¹ Данное понятие вводится в книге: MacCannell, D. *The Tourist: A New Theory of the Leisure Class*. London: Macmillan, 1976. См. также: Wearing, B. and Wearing, S. (1996) 'Refocussing the tourist experience: The *flaneur* and the *choraster*', *Leisure Studies*, 15(4): 229–43.

построенные по принципам «логистики», и неоимперские публицистические рассуждения. Все это делает травелоги знаковым жанром, определяющим и пределы национальной идентичности, и пределы знания вообще: «...обретение знаний о земле и знание самой земли становятся нераздельными» (с. 183). Направление движения не так уж важно: выход американцев за пределы Старого света связан и с движением внутрь страны, на запад, и с возвращением в Европу, и с экспансией на юг. Куда важнее, что движение есть...

Сравнивая традиционные историко-литературные штудии и новейшие постколониальные, антропологические и т.д., мы видим недостатки и тех, и других. Однако работа по изучению травелогов продолжается. Возможно, и в России в скором времени будут созданы книги, осмысляющие специфику литературы путешествий. соответствующие тексты по-прежнему востребованы исследователями — новые опыты классификации и теоретического осмысления, может, и не дают бесспорных результатов, однако рамки жанра становятся все определеннее. И путевые тексты из собрания пестрых впечатлений превращаются в единое, пусть и изменчивое, целое. На такой оптимистической ноте можно, пожалуй, и поставить в нашем путешествии точку.

История и имагология

Литературная дипломатия в «путевых письмах» Н.И. Греча

В Европе литература путешествий рассматривается как заведомо пограничное явление, и изучение ее позволяет серьезно трансформировать методологию филологических исследований. В России появляется немало исследований, связанных с конкретными травелогами, но пока нет системного осмысления проблемы. Сколь угодно подробное описание путешествий по отдельному региону, характеристика путевых текстов определенной эпохи, изучение конкретных сочинений известных и неизвестных авторов еще не приближают нас к пониманию того, в чем же состоит особенность литературы путешествий.

Возможно ли вообще воссоздать место; отразить его точно в описании путешествия, уловить его дух в поэзии, даже фактически представить в живописи, набросках, моделях? Художественное творчество, разумеется, — не описание. Место пересоздается. Но где предел, отделяющий реальный опыт путешественника от созданных в его тексте образов, воздействующих на массовое сознание? И как автор травелога решает задачи, в широком смысле слова дипломатические?

Речь вновь идет об идентичности — идентичности места в исторической или мифологической перспективе, в прошлом и в настоящем. Создание эстетической цельности представляет особую сложность, когда источником оказывается путевой текст — принципиально изменчивый, лишенный жестких ограничений. И формирование «идентичности» как места, так и повествователя затрудняется — путешествие длится, впечатления от разных объектов и событий наслаиваются друг на друга, путешественник меняется... Литературове-

ды показывают, как внешняя прихотливость формы маскирует довольно жесткие схемы — и в то же время демонстрируют, как эти схемы могут утрачивать стабильность.

О расцвете европейских травелогов в русской литературе немало писали исследователи (в частности, Дерек Оффорд и Александр Эткинд), однако понять, какова роль литературы путешествий в интеллектуальной истории России, возможно лишь в том случае, если мы обратимся к истолкованию обширного массива путевых текстов.

Работа Дерека Оффорда «Путешествия на кладбище»¹ — одно из самых оригинальных исследований русскоязычной литературы путешествий последнего времени. Оффорд рассмотрел путевые записки русских за границей — от стольника Петра Толстого до М. Е. Салтыкова. Исследователь не стремится выстроить схематичную концепцию, он подчеркивает, что цели путешественников были различны, а в равной мере различались и отчеты о путешествиях. Оффорд анализирует и форму путевых заметок, и роль их в контексте «интеллектуальной истории», и значение травелогов в конструировании национальной идентичности, в связи с «вестернизацией русской социальной элиты и дальнейшим созданием вестернизированной интеллектуальной и культурной элиты (которая получила наименование «интеллигенция»), когда эти изменения вынудили русских задуматься об их собственной идентичности»². Оффорд не ограничивается, как многие исследователи, собиранием материалов, он пытается найти ответ, причем не опираясь на готовые «имагологические костыли» —

¹ *Offord D. Journeys to a Graveyard. Perceptions of Europe in Classical Russian Travel Writing.* Dordrecht: Springer, 2005. — XXVI, 287 pp. (International Archives of the History of Ideas. 192).

² Там же. С. xxiv.

рассуждения о другом не могут строиться в отрыве от своего, а свое теснейшим образом связано с исторической конкретикой.

Особое значение в данном случае имеет литература первой половины XIX столетия. Травелоги становятся своего рода моделью имперской идентичности, причем политологические, социологические, эстетические, философские установки можно прояснить, если обратиться к литературному материалу, кажущемуся на первый взгляд маргинальным. Путевые заметки Н.И. Греча, печатавшиеся в «Северной пчеле», стали своего рода эталоном «европейских» путешествий в русской литературе времен николаевской империи. Перерабатывая, по существу, один и тот же материал, Греч виртуозно программирует отношение своих читателей к «другим», «чужим» культурам. Используя антинаполеоновские настроения в период после 1812 года, Греч наполнял свои письма выпадами против французов. Может показаться, что со временем политическая конъюнктура ушла в прошлое, путешественник из патриота становится картографом, гидом, и его оценки относятся к практическим обстоятельствам. Другой мир стал знакомым, проблемы «иных» — понятными и важными уже «для себя». Но подчас беглые путевые впечатления решают совсем иные, не литературные задачи. И объяснить специфику русской литературы путешествий можно, если восстановить историческую последовательность.

Именно тексты Греча, о которых Офффорд упоминает в двух строках, мне кажется, дают самый интересный материал с точки зрения формирования жанра путевых записок в русской литературе. Ведь корпус этих текстов весьма обширен — но при анализе этого корпуса мы сталкиваемся с проблемой, которая попадает и в поле имагологии, и в поле истории литературы.

Итак, Николай Иванович Греч отправился в Европу в 1817 году, он был назначен почетным библиотекарем Императорской Публичной библиотеки, но почти тотчас же выехал за границу «для поправления здоровья», при этом «получил от начальства поручение осмотреть знаменитейшие библиотеки в чужих краях». Как видим, писатель совместил приятное с полезным. Но поездка была вынужденно краткой.

Итогом ее стала книга «Поездка во Францию, Германию и Швейцарию в 1817 году», в которой никаких рассказов о библиотеках мы не обнаружим. Этот цикл писем к А. Е. Измайлову отражает антинаполеоновские настроения в период после 1812 года; Греч наполнил свои письма выпадами против англичан и французов, вполне соответствовавшими «социальному заказу».

Первое же впечатление о Франции — яркая демонстрация политической позиции: «Посреди канала, которым мелкие суда входят в порт, поставлен на одной из насыпей, выложенных камнем, памятник возвращения Людовика XVIII во Францию в 1814 году. След ноги его, вырезанный на меди, положен на том камне, на который он ступил впервые. Подле возвышается колонна, оканчивающаяся лилией, с приличною надписью»¹. Далее следуют рассуждения о героизме и благородстве роялистов — и снижается образ французов начала XIX века: цитируется «другая надпись», «постыдная» — *Il est defend a tout particulier de faire eu de deposer ici des ordures sous peine d'être arreté et puni!* (Запрещено всякому производить или свозить на сем месте нечистоту вод под опасением взятия под стражу и наказания).

Французы, поддавшиеся обольщению Наполеона, представлены в травелоге «игрушечной наци-

¹ Греч Н.И. Сочинения. Поездка в Германию. СПб., 1855. С. 303.

ей»: «...после зрелища твердых, величественных зданий Петербурга их домики кажутся мне игрушками» (304). Приведу еще лишь один пример — рассуждая о готовности французов бранить представителей иных национальностей, Греч завершает рассказ следующим выводом: «Все французы уверены, что англичане виною всех их заблуждений, всех несчастий и кровопролитий, что они причинили революцию, что они возвели на престол Бонапарта... Легкое средство оправдываться! И они не примечают, что унижают самих себя, воображая, что были слепыми орудиями врагов своих» (306).

Примеры подобных филиппик можно приводить довольно долго — травелог предельно политизирован, по крайней мере в своей французской части. В главах о Германии патриотическое одушевление автора выражается несколько иначе. В Германии «обитает народ, славящийся трудолюбием, честностью, праводушием и верностью. В ней еще существуют добродетели времен патриархальных — изглаженные в иных землях излишним утончением нравов! (Поздн. примечание: Для чего не остался я на левом берегу Рейна, чтоб утешаться этой приятной мечтою? Существенность меня *разочаровала!*)» (2, 391).

Особенную пикантность книге придают рассуждения о том, что немцы говорят по-немецки «очень дурно», неправильно, путешественник их не понимает, нуждается в переводчике и сетует на общую безграмотность и забитость временно поддавшихся французскому влиянию обитателей Германии. И города немецкие автору не нравятся, и улицы — сравнительно с русскими ничего собой не представляют. В целом патриотический настрой создает основу восприятия и иных земель, и иных народов — здесь все просто и схематично.

Потом появляется «Поездка в Германию» — роман в письмах, в котором описание путешествия

становится фоном для психологически точного воспроизведения любовных переживаний. Русские спутники героя — скорее комические персонажи, немецкие же обыватели — чувствительные натуры, противопоставленные всевозможным Волгиным и Репейковым. «Идиллический мир» Германии способствует пробуждению чувств; патриотические декларации сохранились, но лишь как дань риторике; они уже не определяют структуры повествования. Книга имела огромный успех и привела к романтическим последствиям.

Для читателей-современников психологическая точность оказалась чрезмерной; вымышленное путешествие стало гораздо более реальным, чем настоящее; герои романа оказались своими и потому более интересными, чем «чужие». Приходилось доказывать, что другой — не только «иностранец», но и повествователь. Греч, дистанцируясь от своего героя и в то же время эксплуатируя коммерчески успешный проект, выпускает книгу «Действительная поездка в Германию в 1835 году». Следует отметить, что этот текст необходим добропорядочному чиновнику Гречу, чтобы уйти от имиджа страстного искателя приключений. Ведь в 1834 году вышел ярчайший образец «неистовой словесности» в России, роман «Черная женщина» — и ужасные приключения героев многие сочли отображением опыта автора. А ему важно было показать, что составитель «Энциклопедического лексикона» со страстным любовником ничего общего не имеет. И полученный отпуск (28 дней!) был использован для создания текста, неизменно включавшегося в собрания сочинений, составленные самим Гречем.

Здесь место политической риторики и психологических этюдов занимает поверхностная, но весьма интересная картина европейской интеллектуальной жизни. Впечатления путешественника неотделимы от культурного контекста, его окружают следы «великого прошлого». Первый же

встреченный немец — консул Шлецер, сын великого историка¹. Первый же храм — любекский собор Св. Марии, «величественнейшее здание». Есть и культура, и развлечения — но все наводит на мысли возвышенные и серьезные, от «пляски смерти» до песен «немецкого Беранже», сенатора Овербека. Вырисовывается весьма любопытная картина: многие достижения немецкой культуры (маркируемой как «положительная») оказываются вариантами культуры французской (которая декларативно по-прежнему представляется как «отрицательная»). Именно Франция дает те образцы, которым следует «величественная Германия — от отелей с французскими названиями до французских газет на лотках. При этом политика все равно определяет систему оценок даже тогда, когда конкретные поводы не очевидны. Таково обширное рассуждение об отсутствии черни в России: «Негодяи составляют у нас исключение, а во Франции они — самодержавный народ»². Любопытно, что реальные характеристики персонажей противоречат заданным константам. Греч много рассуждает о превосходстве англичан, но единственный его спутник-англичанин оказывается «патентованным болваном», а порицаемые французы при ближайшем знакомстве очаровывают: «Сначала побаивались мы французов, думая найти в них героев юной Франции, но к счастью обманулись: это были люди образованные, скромные, благородные и притом веселые, добродушные, что называется *de bons enfans*»³.

«Мода на демагогию» (3, 110) во Франции прошла, и теперь французское общество обратилось к «благоразумию и патриотизму». Это Греч показы-

¹ Греч Н.И. Сочинения: Действительная поездка в Германию. С. 17.

² Там же. С. 42.

³ Там же. С. 78, 80.

вает на примере «Юной Франции» и «Юной Германии»; здесь он подробно излагает биографии Гейне (который после общения с французами исправился) и Гуцкова (который положительный пример отверг и стал «настоящим мерзавцем»¹), рассуждая об их отношениях с французской публикой, мнения которой — настоящий барометр вкусов. Представление о «благоразумной» Германии и благотельном самодержавии определяет и биографический нарратив.

Но когда речь заходит о «биографиях» народов — Греч выстраивает довольно сложную картину. Здесь он резок, недипломатичен и подчас забывает о необходимости формировать «общественное мнение» (эта задача достигается беседами в салонах и постоянным расширением круга общения). Проблема в том, что европейцы — потомки великих — оказываются недостойны столь значительного прошлого; и сожаления о былом величии Европы и о нынешнем превосходстве России занимают все больше места в «Путевых письмах» Греча, не вошедших в итоговое собрание сочинений.

В 1839 году появляются «Путевые письма из Германии, Франции и Италии». Следует отметить, что это отнюдь не развлекательный, а вполне деловой отчет; к книге приложено «Описание средних учебных заведений во Франции и Германии». На сей раз повествователю приходится оправдываться: рассуждения о Франции и французах составляют значительную часть авторского предисловия. «Бесперывные колебания ... разгар самых бурных страстей — все это перевернуло Францию вверх дном; взволновало самое дно житейского моря, вынесло на поверхность его всякую нечистоту. Люди благонамеренные и враги волнений удалились с позорища света; исчезли следы старинной вежливости и обходительности; грубый материализм, не-

¹ Там же. С. 110.

уважение к старшим, своекорыстие, исключительное поклонение деньгам — представляются на каждом шагу».¹ Политическое задание, вроде бы не самое актуальное, остается ключевым элементом стратегии путешественника: «...поезжайте туда (во Францию. — А.С.) сами, и если вы добросовестны и беспристрастны, то непременно убедитесь, что представительный образ правления есть кукольная комедия, которая не ведет к добру, ослабляет и обращает во зло самые благие намерения и действия правительств» (vii). Достаточно просмотреть заголовки французских глав, чтобы увидеть последовательную реализацию исходных принципов: «Превосходство Англии», «Прежнее величие Версаля», «Запустение», «Пусторечие» и др.

Впрочем, в финале «французского» тома, в очередной раз сравнивая благодетельную Германию и «буйную» Францию, Греч проговаривается: «...в Германии я на свободе, под покровительством законов, свято чтимых, под властью правительств благоустроенных. Во Франции Бог сделал все для изобилия и счастья людей, а люди все исковеркали, перепортили. Что это за свобода, где честь моя, доброе имя, кредит и все достояние зависят от произвола первого мерзавца, которому вздумается очернить, оклеветать меня в газетах»... (2, 189). И далее следует рассказ о попытках Греча организовать серию пророссийских публикаций во французских газетах: «патриотическая кампания» не удалась, и дипломатической задачи, в отличие от педагогической, путешественник так и не исполнил.

Лето 1841 года Греч провел в Германии, Швейцарии и Италии, «Письма с дороги», печатавшиеся в «Северной пчеле» и изданные отдельной книгой в 1843 году, основаны не только на свежих впечат-

¹ Греч Н. И. Путевые письма из Англии, Германии и Франции. СПб., 1839. Т. 1. С. VI.

лениях; у рачительного хозяина не пропали и старые наблюдения. Как ни странно, материал во всех случаях один и тот же, Греч не просто повторяет маршрут, он использует многие факты, оставшиеся за рамками еще текста 1817 года. «Искренние и благодарные жители» — все те же Шлецер, Мейер и другие. А Германия предстает идиллическим миром, в котором русскому нужен разве что путеводитель с указаниями цен в гостиницах и наилучших маршрутов. Собственно, путешественник из патриота и дипломата становится картографом, гидом и оценки (если он и дает таковые) относятся к самым что ни на есть практическим обстоятельствам. Другой мир стал знакомым, представители «иных» народностей — привычными спутниками (элемент волшебной сказки в литературе путешествий следует рассмотреть особо). Но это касается лишь части «иного мира» — той, в которой возможно «благоразумное» поведение, где нет «переворотов» и «возмущений». Всяким приключениям в путешествии есть предел — и этого предела Греч переходить не желает.

В 1847 году вышли «Парижские письма с заметками о Дании, Германии, Голландии и Бельгии», включавшие значительную часть «старого» материала. В 1853 еще один цикл писем был напечатан в «Северной Пчеле», но в собрания эти тексты уже не включались, хотя здесь любопытно развито противопоставление «живой» Германии и «умирающей» Италии, отчасти занявшей место «запустелой» Франции в системе антитез путешественника-монархиста.

Этот сюжет я изложил упрощенно, чтобы показать, мимо каких интересных контекстов проходит исследователь, стремясь охарактеризовать жанр, обращаясь лишь к творчеству «наиболее влиятельных» авторов. Историк литературы зафиксирует движение замысла и объяснит его, но что делать историку с этим «фоновым» материалом? Но и ис-

торик литературы, взявшись за такой сравнительно мелкий сюжет, утонет в деталях: очень много имен и дат, событий и фактов, многие из которых кочуют из текста в текст, обрастая придуманными деталями. А важность их надо еще доказать...

Имагология может дать неплохую модель «узнавания другого», установления контакта с «чужими»; впрочем, вслед за Д. Оффордом не могу не признать безнадежности такой условной реконструкции. Исследователь, занимающейся имагологией, объяснит превращения другого и даже предложит философское осмысление проблемы — но скорее всего он заинтересуется не Николаем Ивановичем Гречем, а более значительной фигурой. В интеллектуальную историю никак не вписывается, по существу, ничем не примечательный персонаж. Как при построении имагологических конструкций учесть и меняющуюся позицию Греча-чиновника, и точки зрения его спутников, и даже контекст «Северной пчелы»; в разные годы и роль Греча в газете, и сама газета выглядели по-разному...

И как же нам быть с любезнейшим Николаем Ивановичем? Он много сделал для услаждения почтеннейшей публики, порадовал ее прекрасными книгами и в свой черед был позабыт. Не в этом ли справедливость? А впрочем — почему же обязательно позабыт? Вот она, готовая история трансформации другого — в рамках одной жанровой конвенции и достаточно протяженного исторического периода, вобравшего много интересных событий. В их ряду — место путешествий Греча, за которыми мы следили уже почти 20 минут. А проблему выбора я предоставляю решать вам, любезнейшие слушатели...

Анализ литературы путешествий позволяет осмыслить этапы описания национальной идентичности. Можно сказать так: постепенное узнавание другого ведет к ассоциированию с ним, потом совершается попытка отделить себя от иного, позднее, по прошествии времени, если такая возмож-

ность сохраняется, иное становится камертоном, которым поверяются все новые и новые события и явления. Но любая прямая линия, соединяющая несколько точек, неизбежно минует другие. Греч сохраняет верность идеологическим постулатам, заявленным в первом сборнике путевых писем, даже тогда, когда в подобных декларациях уже не было необходимости. Для построения убедительной картины мира необходим «образ врага» — на эту роль выбраны французы. Все прочие нации открыты пониманию, постижимы и объяснимы; когда речь заходит о Франции, Греч изображает нечто обратное порядку, и никакого взаимопонимания не может обнаружиться просто потому, что любому путешественнику необходима граница, которую пересечь нельзя. Впрочем, вы с легкостью сможете предложить иные варианты развития, которые в свою очередь подлежат корректировке. Процесс бесконечен? — Сомнительно. Объяснение «другого» связано с объяснением себя, но следующий доклад, посвященный этой теме, еще нужно написать.

Итак, конструкция национальной идентичности в травелогах выстраивается довольно сложно, хотя внимательный исследователь-гуманитарий отыщет линейную интерпретацию этой проблемы. Европейские впечатления как раз и становятся средством проверки новых убеждений путешественника, чужое служит для постижения своего, описание «буйной» Франции служит утверждению образа «благодетельной» России...

В последнее время в исследованиях литературы путешествий все чаще речь заходит о «третьем пространстве»; эта концепция предложена в работах Эда Соджа, для исследователей «новой культуры» оказывается полезной. Особый воображаемо-реальный тип пространственного сознания, превосходящий существующие дуализмы, но вступающий с ними диалог — такова основа теории. «Хорастер» (путешественник) — не фиксированная

идентичность, а метафорическое воплощение таких пространственных категорий и путевых опытов, условных и изменчивых, полных смысла и живых»¹. Новый туризм основан не на статике достопримечательностей, а на «жизни» мест; в эту жизнь погружается турист. Перенести ее на бумагу сложно — травелог превращается в рекламу или отчет (как путевые заметки Михаила Погодина или последние книги Греча). Подобные «коллекции опытов» вытесняют систематизированные описания, и на смену традиционным травелогам приходят новые. Но это не значит, что исследования литературы путешествий прекращаются в связи с исчезновением предмета исследований. Просто меняется точка зрения.

И в этой связи стоит напомнить о расширении пределов культуры. Это не связано только с формированием культур туристических; литература путешествий и в предшествующие эпохи куда более разнородна в культурологическом отношении. В рамки литературы путешествий рассматриваются и научные отчеты, становящиеся поэмами, и коммерческие сводки, построенные по принципам «логистики», и неоимперские публицистические рассуждения. Все это делает травелоги знаковым жанром, определяющим и пределы национальной идентичности, и пределы знания вообще: «...обретение знаний о земле и знание самой земли становятся нераздельными» (с. 183). Но когда границы преодолеваются — исчезает потребность в дипломатических ухищрениях. И Николай Иванович Греч из самого популярного сочинителя путевых очерков превращается в некий литературный аналог тех диковин, которые он с таким упоением описывает в парижских и берлинских главах своих путевых писем.

¹ *Wearing Stephen, Stevenson Deborah, Young Tamara. Tourist Cultures: Identity, Place and the Traveller. Los Angeles, Calif.; L.: Sage, 2010. С. 136.*

Путешествие Густава Ириковича на «дикий» Восток

Своеобразный синтез фольклорных и научных представлений в романах А. Ф. Вельтмана неоднократно становился предметом научного осмысления¹. Вельтман в своих историко-фантастических романах («Кощей Бессмертный», «Светославич, вражий питомец») отказывается от «чистой» сказки, хотя происходящие с персонажами события чаще всего варьируют традиционные для фольклора сюжеты и методы композиционной организации; авторская романтическая ирония проникает в сказочное повествование и сообщает всем событиям совершенно иной облик.

Может показаться, что и в сочинениях Е. И. Вельтман² разрабатывается та же историческая концепция, что и в трудах ее супруга. Особенно это касается самого крупного ее произведения — романа «Приключения королевича Густава Ириковича, жениха царевны Ксении Годуновой» (1851–1864). В этой книге можно обнаружить мно-

¹ Богданов А.П. Александр Вельтман – писатель-историк // Вельтман А.Ф. Романы. М.: Современник, 1985; Щеплыкин И.П. О первоначальном плане романа А.Ф. Вельтмана «Святославич, вражий питомец» // Филологические науки. 1975. № 5; Чернов А.В. Из истории русской беллетристики (А.Ф. Вельтман – романист: 30-60-е годы XIX в.). Череповец, 1996; Сорочан А.Ю. Мотивировка в русском историческом романе 1830-1840-х гг. Тверь: ТвГУ, 2002; Сорочан А.Ю. В.И. Даль и А.Ф. Вельтман: из истории творческих взаимоотношений // В.И. Даль – писатель и этнограф. Торжок, 2003. С. 84-92.

² Биографические сведения о писательнице собраны в статье: Ильин-Томич И.И. Е. И. Вельтман // Русские писатели. 1800-1917. Т. 1. М.: Сов. энциклопедия, 1989. С. 409-410.

го общего с романами Вельтмана: обилие этнографических и лингвистических зарисовок, интерес к научному материалу, увлеченность оригинальными и странными для русского читателя словами. Но согласимся с мнением А. П. Богданова: это «оригинальное произведение, работая над которым, писательница создавала и особый стиль, и собственные концепции развития событий»¹. Е. И. Вельтман строит весьма нетривиальный приключенческий сюжет, отталкиваясь от скудных сведений исторических хроник. В отдельных эпизодах текст вроде бы документален: описания польского, шведского и русского дворов даны в соответствии с источниками, во многих случаях ссылки на документы приводятся в тексте. Но следует отличать такие эпизодические вставки от целостной фактографической картины. Е. И. Вельтман, как и ее супруг, не пишет историю, основой сюжета становятся различные легенды и сказки, а исторические факты служат лишь более или менее удачными скрепами между ними. Ведь информация о сыне короля Эрика Густаве² касается в основном его пребывания в России; «цивилизованный» человек Запада прибывает в «дикую» восточную страну — и этим противоречием может быть исчерпан трагизм судьбы героя, как в более позднем романе Вс.С. Соловьева «Жених царевны». Однако исторический Густав, стремящийся к династическому браку, не может претендовать на роль положительного героя. Конрад Буссов в «Московской хронике» дал весьма подробный отчет о неблагоприятных поступках шведского королевича. Есть в «Хронике» и

¹ Богданов А. П. Свидетельства об авторе и героях этой книги // Вельтман Е. И. Приключения Густава Ириковича... М.: Молодая гвардия, 1992. С. 19.

² В заглавие книги выносятся имя искаженное, фантастическое, в лучших традициях смелых генеалогических экспериментов А. Ф. Вельтмана.

упоминания о патриотических побуждениях Густава, «не намеренного выступать против своей родины»¹. Но сведения о предшествующих похождениях принца весьма разноречивы — фантазия романистки ничем не ограничена. И Е. И. Вельтман распоряжается имеющимися фактами весьма оригинально: только в последней, пятой части романа Густав попадает в Россию, предшествующие его приключения куда более фантастичны. Тут и похищение, и жизнь в убежище алхимика, и потеря памяти, и скитания по Европе, и козни иезуитов. На этом последнем аспекте стоит остановиться подробнее. Чем дальше развивается волшебносказочный сюжет, тем очевиднее в ткань его вплетаются религиозные обертоны»; западный человек оказывается куда более уязвим в силу своей «цивилизованности»; его сила оборачивается слабостью, что мотивировано первыми частями романа.

Первоначально в действия героев активно вмешиваются волшебные силы: «Демонские козни посетили уже двор Эрика. Под влиянием наветов и морока король проникся подозрением и страхом»². Позднее их место занимают происки католической церкви. Иезуиты, как выясняется, были причиной гибели Эрика и несчастий его сына — все во имя уже известного «плана, давно замышленного в Риме, чтобы соединенными силами Швеции и Польши одолеть Москву, как главного и могучего противника повсеместному владычеству Ватикана» (С. 311)³. Получают иное освещение и предшествую-

¹ *Буссов Конрад*. Московская хроника. 1584-1613. М.; Л., 1961. С. 84.

² *Вельтман Е. И.* Приключения Густава Ириковича... С. 56. Далее роман цитируется по этому изданию с указанием страниц в тексте.

³ Комментатор отмечает, что Москва не была на тот момент основной угрозой католикам — но романистку факты заботят мало.

щие события, и судьба второстепенных персонажей. В качестве хранителя «восточных» ценностей неоднократно упоминается «столп православия» князь Константин Константинович Острожский. Позднее Вс. С. Соловьев посвятит ему выдержанный в антикатолическом духе роман «Княжна Острожская», где борьба «светлой» и «темной» религий будет положена в основу интерпретации всей европейской истории.

Не значит ли это, что и в романе Е. И. Вельтман является только продолжением «тенденциозной» линии в практиках репрезентации истории? Постепенное усиление религиозного элемента связано, вероятно, с тем, что роман предназначался для «Русского вестника», перед публикацией его читали И. С. Аксаков и А. Ф. Писемский. Вместе с тем «волшебная» составляющая из книги не исчезла; история по-прежнему воспринимается как сказка. Обратим внимание на то, какую значительную роль в романе играет королева Коринь, мать Густава. Неоднократно упоминается о «младенческой естественности» королевы и ее сына — качестве, необходимом герою волшебной сказки и противопоставленном «цивилизованному» Западу. Кроме того, «это качество было баснословным божеством-мифом, известным лишь по сказкам, но в существование которого никто уже не верил» (С. 74). Именно эта особенность привлекает и к Густаву общее внимание; в западном мире, утратившем сказку и веру в нее, появляется сказочный герой, вновь переживающий сказочные приключения. Весь роман Е. И. Вельтман можно свести к нескольким сказочным сюжетам, но этот процесс вряд ли так уж интересен. Последнее звено сюжета может показаться совсем не сказочным. Густав умирает в Кашине; любящая Иоганна, придя к его смертному ложу, «угасает». Но в трагический финал Вельтман вводит иную, сказочную ноту: «И в этом мгновении пронеслась целая жизнь любви не-

возмутимой, беспечальной, сосредоточенной в одном неопisanном взгляде» (С. 478). Бесспорно, это описание имеет самое прямое отношение к фольклорному «они любили друг друга и умерли в один день». В книге Вельтман исторический факт и догматическая тенденция сталкиваются, но все они остаются лишь второстепенными служебными средствами для создания сказочного повествования, основу которого составляют архетипические ситуации, лишь условно привязанные к исторической реальности.

Конфликт «Запад — Восток» в тексте становится очень важным, пусть эти категории и относительны (на Руси оценки «цивилизации» и «варварства» существенно меняются). Густав гибнет потому, что оказывается в ситуации, из которой нет выхода в дуалистической системе, а сказочные элементы призваны подчеркнуть условность истории XVII столетия. Однако репрезентация истории как вымысла уже нуждается в маскировке и не воспринимается серьезно. Читатели пишут об «огромных знаниях» языка и быта и об «учености автора», но отмечают, что «таланту мало» (И. С. Аксаков), а о сюжете не говорят ни слова¹. Совершенно очевидно, что рассуждения о религиозных вопросах и о трактовке разрозненных фактов оказались более востребованы, чем традиционная сказочная сюжетная канва. Как показывает дальнейшая история русской литературы, репрезентация истории как вымысла все больше выходит из моды; ее ситуативные возвращения в середине и конце столетия заслуживают особого разговора.

¹ О читательской реакции на роман см.: *Богданов А. П.* Указ. соч. С. 19-20.

Проблемы «внутренней колонизации» в «хивинских» текстах В.И. Даля

Хивинский поход 1839 года — одна из самых загадочных страниц «Большой Игры», эпизод в истории противостояния России и Британии в Средней Азии и на Ближнем Востоке. Проект исследования Аральского моря обсуждался на заседании Азиатского комитета, немало усилий для его реализации приложил губернатор Оренбургского края В.А. Перовский. И тем не менее поход завершился катастрофой: более 1000 человек погибли в бою с хивинцами, 600 попали в плен. Долгое время о походе практически не упоминали. Однако не может не удивлять обилие текстов современников, посвященных этой неудачной вылазке: это и воспоминания очевидцев, и путевые заметки, и очерки, и публикации писем и дневников. И многочисленные опыты рефлексии отражают и «колониальные» установки, и травматический опыт, и новые иматологические конструкции.

«Хивинские тексты» заслуживают внимания и потому, что они стали прототипами для последующих опытов фиксации колониального дискурса — опыт неудачного похода 1839-1840 годов оказался очень важным для сочинений, посвященных походу удачному: в 1873 году русская армия одолела хивинцев, и ханство перешло под протекторат России. Интересно и влияние эгодокументов на художественные произведения, посвященные этим событиям.

Но мне хотелось бы остановиться лишь на нескольких свидетельствах о походе, связанных с именем В.И. Даля. Будучи чиновником по особым поручениям при губернаторе Перовском, он при-

нимал в походе самое активное участие — и как учёный, и как военный врач¹.

Тексты, в которых Даль отразил опыт Хивинского похода, весьма разнообразны — от мемуарных очерков до статей в «Энциклопедическом лексиконе». И на основе этих текстов мы можем реконструировать неоднозначную идеологию «внутренней колонизации», запечатленную в литературе середины XIX столетия.

Перед нами исключительно важный эпизод развития империи. С одной стороны, экспансия осуществляется вовне, с другой — речь как будто идет исключительно о подданных Российской империи. Достаточно вспомнить формулировки из служебной записки И. Виткевича (этот документ стал одним из поводов для организации Хивинского похода): «У татар наших развязывают тюки, бьют людей и собирают с неслыханными притеснениями и злоупотреблениями.... Если согласишься своими глазами на эти самоуправства, о коих у нас едва ли кто имеет понятие, то нисколько нельзя удивляться застою нашей азиатской торговли. Хивинцы ездят по Сырдарье, до самого Ак-Мечета Ташкентского, где отделяется Куван от Сыра, и грабят беспощадно чумекейцев наших, которые зимуют здесь... Ныне же насилие это вошло в употребление, и наши так называемые подданные (киргизкайсаки), будучи с нашей стороны освобождены от всякой подати и в тоже время подвергаясь, по беззащитности своей, всем произвольным притеснениям и поборам хивинцев, поневоле повинуются им более, чем нам, и считают себя более или менее подведомственными хивинскому хану»². Хивинцы становятся конкурентами русских в борьбе за вас-

¹ *Матвиевская Г.* Ученые в Хивинском походе 1839-1840 года // Вечерний Оренбург. 2000. № 20. С. 12.

² *Виткевич И.* Записки о Бухарском ханстве. М., 1983. С. 129.

сальную верность подданных; при этом само хивинское ханство как будто попадает в зону российского торгового и политического влияния. И соперничество могло иметь лишь один исход — военный. Противостояние развивается предсказуемо: «... колонизация была направлена внутрь страны, но зона ее действия расширялась по мере того, как государственные границы перемещались в процессе внешней колонизации»¹. «Процесс доминирования» — именно так определяется сущность колонизации и основное содержание колониальных текстов². И рассказы о Хивинском походе должны, по идее, демонстрировать неизбежность этого доминирования и раскрывать причины временного поражения.

Однако в текстах В.И. Даля мы обнаруживаем совершенно иные механизмы механизмы репрезентации колониационного сюжета. Даль фиксирует целый ряд рассказов участников похода и хивинских пленников. Рассмотрим один пример — «Рассказ вышедшего из хивинского плена астраханского мещанина Тихона Иванова Рязанова»³. Перед нами история насильственного переселения — похищенный мещанин продан хивинцам и проводит в плену 10 лет, наблюдая за обычаями «чужого» народа. Герой отделен от знакомого мира и выброшен в иную среду, которая не может именоваться враждебной и даже чуждой: «Прожив без малого лет десяток при дворе Хивинского хана, узнал я там всю подноготную»⁴. Протагонист пре-

¹ Эткнд А. Внутренняя колонизация. М., 2013. С. 9.

² См. об этом: *Horvath R.J. Definition of Colonialism // Current Anthropology. 1972. № 13 / 1. P. 45-57.*

³ [Даль В. И.] Рассказ вышедшего из хивинского плена астраханского мещанина Тихона Иванова Рязанова // Утренняя заря: Альманах на 1839 год / Изд. В. Владиславлев. СПб., 1839. С. 74-92.

⁴ Там же. С. 77.

красно ориентируется в новой обстановке, он строит предположения о развитии событий; в Хивинском ханстве его удивляет совсем немногое — разве скорость коней и причёски мужчин. Герой-колонизатор открыт новым впечатлениям и все случаи закрытости он подробнейшим образом фиксирует: «...дворец ханский выстроен словно караван-сарай или меновой дворъ, как у нас сомкнутый в четыре стены гостиный двор, да только лавками не наружу, а внутрь. Там они все и живут, каждый в своем покойчике...»¹ Для носителя имперского сознания очень важна и ограниченность колонизируемых народов — постоянно подчеркивается жадность, бедность, стеснённость условий хивинцев.

Но мы переходим к финалу рассказа — и обнаруживаем примечание: «Тихон Рязанов отправился из Оренбурга в Астрахань, прожил там до 1833] года, а потом, неизвестно по каким причинам, бежал опять в Хиву же и увел с собою еще 4-х человек, из коих дошли до Хивы двое. Хан принял его милостиво, не наказал, однако же в дядьки сыну своему не определил, а заставил делать телеги»². Что происходит? Почему «хивинский пленник» снова бежит в плен — и не он один? Новые властные практики, с которыми сталкиваются русские в Хивинском ханстве, не кажутся из ряда вон выходящими; однако равное распределение имущества между пленными, близость к высшему правителю и доступность власти привлекают интерес. Для колонизации восточных окраин важен и эффект бумеранга: то, что выносится вовне, возвращается из колонии в метрополию, а потом — процесс повторяется³.

¹ Там же. С. 79.

² Там же. С. 92.

³ См.: *Arendt H. On Violence*. Orlando, 1970. С. 54.

Если мы от описаний мирной жизни обратимся к собственно событиям похода, то обнаружим несколько интересных факторов, на которые обращает внимание Даль. Прежде всего интересна не практика завоевания, а сам по себе поход — удаление от обыденной жизни, обретение новых впечатлений, трактуемых исключительно позитивно: «...сыром в масле мы, конечно, не катаемся, равным образом нельзя чтобы не было в таком огромном отряде без разных беспорядков, недостатка, нужды — ну придем домой и отдохнем, будем рассказывать ребятишкам своим и добрым приятелям о похождениях своих и примечаниях»¹. Поход объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий, разного возраста и убеждений; армия для автора «Писем...» — уже не воинское соединение, а новая имперская общность, которая уничтожает созданные традицией границы. К примеру, показательны эпизоды с муллой: «Мулла будет скоро расстрижен, поступает в войско с чином урядника и через два-три дня произведен будет в хорунжего.... Мулла ретивый и честный, надежный парень. Смешит он нас, когда завернувшись вечером в огромную кошму свою, занимает место за троих, и если кто начинает ссориться с ним и требовать, чтоб он лег поубористее, поуместительнее, то кряхтит, стонет и притворяется больным». Но сила Империи не подвергается сомнению, и исход борьбы считается предрешенным. Все комические сцены и бытовые рассуждения лишь маскируют национальную по сути установку: «Статься может, что мы их (хивинцев. — А. С.) и не удивим больше, и знаменитой вылазкою двенадцати солдат и 4-х Грозненских казаков кровопролитие кончится! По человечеству — прекрасно; но, соображая цель многотрудной и дорогой экспедиции нашей, дурно.

¹ [Даль В. И.] Письма к друзьям из похода в Хиву // Русский архив. 1867. С. 404.

Если все обойдется и христиански, чинно, смиренно, тихо — тогда не узнают страху, и нельзя поручиться, чтобы через несколько лет Хива не сделалась опять тем же вертепом. Если, напротив, придется побить их путём, разбить какой-нибудь глиняный вал или стену ядрами или подорвать его миной, поднять на штык ихнее ополчение, разместить, как говорится, пепел хвостом конским: тогда бы помнили Русских долго». Силовое решение всех проблем предпочтительно для имперского сознания, высокая лексика призвана подчеркнуть значимость завоевательной политики: «Мы придем в Хиву к весне; вероятно, хозяевам не много удастся посеять, и гости еще менее того пожнут. Пора не земледельческая, година брани»¹.

Сложные социопространственные конструкции утрачивают актуальность, когда предлагается простое силовое решение. В «Письмах из Хивы» прославляется Перовский, прославляется героизм простых солдат, но речь идет не о *подвигах*, а о важном, необходимом *труде*; колонизация из героического деяния становится работой. И возникает иная система оценок. Повествователь-путешественник попадает в своеобразную «зону нестабильности», и простое накопление впечатлений уже не ведет к переходу на качественно иной уровень. Недостаточно знания — требуется сила.

Интересно, как объясняется неуспех похода. Основная причина — не климатические условия, не волнения киргизов, не атаки хивинцев. «Хвалят нас за то, что мы воротились, что благоразумие взяло верх над славолюбием и другими страстишками. Я был свидетелем и знаю, чего стоила неудача эта тому, в чью руку была положена и власть и ответственность; но тут нельзя было не покориться необходимости. Выбору не было, против матема-

¹ [Даль В. И.] Письма к друзьям из похода в Хиву // Русский архив. 1867. С. 406.

тической невозможности идти нельзя; а коли можно было сосчитать по пальцам, что даже и наличное число верблюдов не подымет необходимейшего продовольствия для пути, не говоря уже о неминуемой убыли их во время самого похода... дело было, кажется, довольно очевидно. Хвалить за решимость, за самоотвержение — значит в этом случае допускать еще какую-нибудь возможность идти вперед, а ее не было...»¹

Неуспех колонизационного проекта попросту невозможен; математическая вероятность в данном случае противопоставлена божественному вмешательству. Все на стороне русского оружия — и как же истолковать итоговую неудачу? Ни о каком «благоразумии» и «осторожности» не может идти речи. Почему же русские терпят поражение? Для повествователя ответ очевиден, для читателя... Впрочем, представим: «чужой» народ колонизирован, ассимиляция состоялась, воцарилась гармония... Сможет ли Империя выжить, лишившись потенциала для развития? Если цель будет достигнута — что делать тем, кто стремился к цели?

Большинство «хивинских» текстов Даля — слегка замаскированные травелоги. Основу сюжета составляет путешествие, перемещение в пространстве. Но завершенное путешествие в чем-то похоже на завершенный колонизационный проект: цель достигнута, дальше идти некуда. Остается только вспоминать о пережитом...

Впрочем, предложен и другой вариант развития событий — хотя в данном случае слово «развитие» не совсем уместно. Я имею в виду короткую статью о хивинском поселении Гурлян, написанную для «Энциклопедического лексикона» Плюшара, которую уместно привести полностью: «ГУРЛЯН. Хивинский городок или селение. Пленные выходцы наши показывают, что Гурлян от Хивы верстах в

¹ Там же. С. 612.

40, от Вайбура в 20, от Урбенджа в 30; он стоит на канале, проведенном из реки Амударьи и простирающемся не далее десяти верст за город. Домов в нем до 300; жители Узбеки и частью отпущенные на волю пленные Персияне. Они занимаются торговлей, садоводством и хлебопашеством»¹. Вместо движения — жизнь на одном месте, вместо войны — мир, вместо экспансии — однообразное существование. Да, очень гармонично — но, увы, скучно. И потому появляются все новые колониальные травелоги, в которых Даль пытается реконструировать опыт имперской экспансии и предложить различные варианты колонизации.

С этой точки зрения представляет интерес сравнение «хивинских» текстов Даля с другими произведениями о трагическом походе. В книге М. Иванина «Описание зимнего похода в Хиву в 1839-1840 г.» (1874) был представлен более или менее обстоятельный статистический отчет, перечислены все трудности, с которыми столкнулись в походе русские отряды. Неудача похода объясняется в первую очередь сложными погодными условиями и дурной организацией снабжения. Но выводы автора носят предельно тенденциозный характер: «...этот поход послужил полезным опытом на случай будущих походов наших в Среднюю Азию; мы на деле узнали, какие изменения надобно сделать в составе и организации отряда, предназначенного для похода; в Среднюю Азию; какая одежда более удобная для такого похода, какая пища полезнее для предохранения нижних чинов от болезней, что нужно сделать для облегчения походного движения, для ускорения вьючки верблюдов и проч. Поход этот будет не бесплодным уроком для будущих

¹ Даль В. И. Гурлян // Энциклопедический лексикон. СПб., 1840. Т. XV С. 246.

наших предприятий в Среднюю Азию»¹. И далее Иванин предлагает свою версию похода, тщательно перечисляя необходимое снаряжение и определяя маршрут. Последняя глава озаглавлена «Соображения о возможности продолжать поход в Хиву». Продолжение колониальной экспансии не ставится под сомнение. В записках Алоизия Песляка речь также идет о необходимости колониального проекта. Отметим, что в мемуарах ссыльного, осужденного за участие в обществе «Черных братьев», даны в целом положительные оценки администраторов и офицеров, с которыми ему во время воинской службы пришлось столкнуться. В походе Песляк проявил себя с лучшей стороны; следствием стало повышение в чине. И сама идея ассимиляции «чужих» народов у раскаявшегося бунтовщика никаких сомнений не вызывает. Но вот частности... «Во время похода нас сопровождали страшные бураны, вьюги и метели настолько сильные, что, несмотря на принимаемые предосторожности и на то, что колонны расставлялись на местах ночлегов в самых близких расстояниях, мы не видали друг друга. Военная дисциплина все время соблюдалась весьма строго и это иногда порождало недоразумения и плачевные ошибки; так, однажды рядовой, сбившись со своего поста и попав по нечаянности и невозможности отыскать свою — в другую колонну, был принят за дезертира и расстрелян»².

В конце века публикуются уже тексты, в которых колониальная риторика сменяется описанием индивидуального отношения к происходящему. Таковы, например, записки полковника Е.М. Косырева. Здесь оценка похода совершенно меняется: «Не помню, как долго стоял отряд, по прибытии

¹ *Иванин М.* Описание зимнего похода в Хиву в 1839-1840 гг. М., 1874. С. 211.

² *Записки Песляка // Исторический вестник.* 1883. № 9. С. 584.

из степи, в лагерях, но, кажется, месяца два или три. Уныние было полное, и, чтобы поднять дух солдат, а главное, чтобы не бросался ярко в глаза трагический исход похода, начальство устраивало ежедневно в лагере отряда празднества (было что праздновать!). Ежедневно с 4-х часов и до пробития вечерней зори играла там военная музыка, по вечерам устраивались танцы, сад иллюминировался, и пускался фейерверк. На эти вечера собиралось множество семейств из общества Оренбурга, но вечера были вялы и не удачны. Больные в Оренбургском госпитале не поправлялись, и только некоторые к концу года выздоровели, а большинство отправилось в вечность. Памятен был всем Хивинский поход, о котором каждый отзывался с необыкновенной грустью и неохотно пускался в описание подробностей пережитого. Дорого обошелся и государству этот поход...»¹ На смену искренней радости приходит показное веселье, ощущение общности, переполняющее «хивинские» письма Дала, исчезает — теперь все переживают тяготы похода поодиночке, и вместо «судьбы империи» мы читаем о «судьбе человека». И ддя восторгов не остается места. «Имперские» установки позволяли даже в неудачном предприятии обнаружить залог грядущего успеха, отказ от них приводит к трагическому переживанию происходящего.

Повествователя — «колонизатора» сменяет «индивидуалист», и из текста исчезает элемент травелога; путешествие, у которого есть четко обозначенная (пусть и сомнительная) цель, превращается в череду случайных препятствий на пути в неизвестное.

Исчезновение имперского дискурса приводит к существенной трансформации как жанровых практик травелога, так и репрезентационных мо-

¹ Косырев Е. Поход в Хиву в 1839 г. (Из записок участника) // Исторический вестник. 1898. № 8. С. 545.

делей, которыми пользуются авторы. Но все «хивинские» тексты В.И. Даля, созданные в 1840-1850-х гг., отличаются известной цельностью установок. «...в процессе колонизации мы видим, как культурная гегемония и политическое доминирование работают вместе — в некоем союзе, соотношении или противостоянии»¹. И в результате мы получили интереснейший комплекс памятников «имперского опыта», в которых дается весьма оригинальная реконструкция трагического эпизода российской истории.

¹ Эткнд А. Внутренняя колонизация. М., 2013. С. 17.

«Фрегат “Паллада”» И. А. Гончарова в контексте литературы путешествий

Исследования «Фрегата «Паллады»» весьма многочисленны и интересны. Кажется, комментарий к академическому изданию полного собрания сочинений¹ позволил разрешить многие вопросы и прояснить отдельные неясности: это касается и истории создания, и круга источников и влияний, и жанрового своеобразия текста. Правда, не следует забывать, что установка на «авторскую свободу» приводит к самым масштабным, пусть и вполне справедливым) декларациям: «Отсутствие “науки о путешествиях” и “ферулы риторики” предоставило Гончарову максимальную свободу в выборе литературных форм и приемов повествования (свободу, в чем-то даже пугающую, — одновременно и “простор”, и “тесно писать”), которой он блестяще воспользовался, создав книгу, занявшую «свое особое место в истории жанра путешествий, где очень трудно подыскать к ней какую-нибудь аналогию во всей европейской литературе...»²

Кажется, можно двигаться дальше. Но вопросы остаются. В нижеследующем конспективном материале мне хотелось бы наметить основные перспективы исследования книги «Фрегат “Паллада”» (далее — ФП), базовые направления, в которых может продолжаться работа с текстом Гончарова. До сих пор эти направления существуют лишь в

¹ *Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. СПб.: Наука, 2000. Т. 3. Фрегат «Паллада»: Материалы путешествия. Очерки. Предисловия. Официальные документы экспедиции / Ред. тома Т. А. Лапицкая, В. А. Туниманов.*

² *Энгельгардт Б. М. «Фрегат „Паллада”» // Энгельгардт Б. М. Избранные труды / Под ред. А. Б. Муратова. СПб., 1995. С. 225.*

условной форме; думаю, стоит продемонстрировать их реальность. Итак,

1. Журнальный контекст ФП

Конец 40-х — время очередного всплеска интереса к литературе путешествий. В «Библиотеке для чтения», которая отражала интересы «среднего читателя», например, из номера в номер публикуются и переводные, и русскоязычные сочинения соответствующего содержания. Многие посвящены экзотическим странам и представляют немалый интерес. Таковы, например, «Путешествия и открытия лейтенанта Загоскина по Русской Америке», напечатанные в 83 и 84 томах журнала в 1847 году: «Там, где нет начальников и закона, нет и наказаний. русские при встречавшихся неприятностях наказывали слегка виновных телесно. Окружавшие туземцы приговаривали: “Хорошенько, оно стоит того: такой он и есть, не слушается стариков”. Следственно, в глазах их побои за проступок не приносят бесчестия ни роду, ни семье»¹.

Интересно, что отношение к телесным наказаниям воспроизводится в большинстве путевых текстов; у Гончарова, как мы вспомним, эта тема возникает только в юмористическом ключе: «А на днях велел высечь Фаддеева. Последнее обстоятельство замечательно тем, что я с самого начала похода всё проповедовал о гуманности и жарко спорил с капитаном, который меньше 150 линьков виновным не дает, говоря, что меньше ему стыдно давать, не по званию. А вдруг и сам высек, но, будучи маленького звания здесь, выпросил, чтоб ему дали только 20»².

Столь же любопытны выводы, которые делает путешественник: «Характер туземцев ложно оце-

¹ Путешествия и открытия лейтенанта Загоскина... // Библиотека для чтения. 1847. Т. 83. С. 73.

² Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. СПб.: Наука, 2000. Т. 3. С. 438.

нивается по их первоначальным поступкам с чувствителями. добродетели их и пороки не могут быть сравниваемы с пороками и добродетелями просвещенных народов, христиан. Дикарь, как человек, сотворенный по образу и подобию Божию — добр; дикарь, как человек падший — зол. Но добродетели его и злоба младенческие»¹. Рассуждения о младенчестве народов, заметные у Загоскина, столь же значимы и у Гончарова².

Кстати, не следует думать, что до ФП традиция путевых текстов никак не осмыслялась в России, что не было «науки путешествий». Например, в 84 томе «Библиотеки для чтения» появилась обширная критическая статья о русской литературе путешествий. Здесь идет речь о специфике описания колоний; вырабатывается «имперский язык» путевого текста: «Подле этих народов живет и множится мало-помалу довольно значительное число европейских колоний. Будучи различного происхождения, они отличаются также нравами и представляют в этом отношении часто поразительные противоположности. Богатый золотопромышленник <...> с наслаждением мечтает иногда о той поре, когда ему можно будет пользоваться своими богатствами среди общества, которое доставит ему все утонченности роскоши. До того времени удовольствия его очень ограничены»³.

В той же статье обнаруживается иронический комментарий к изображению «младенческих народов», которое уже стало литературным штампом: «Когда подумаешь о легкости жизни в этих краях и о миллионах миролюбивых дикарей, которые на Антильских островах проводят жизнь в непрерыв-

¹ Там же. С. 75.

² Васильева С. А. Человек и мир в творчестве И. А. Гончарова. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2001.

³ Библиотека 1847 – Новейшие путешествия // Библиотека для чтения. 1847. Т. 84. Критика. С. 7.

ных празднествах, посреди изобилия, огражденно-го от всякого труда и забот, нельзя не удивиться, что Старый Свет населен и что нет никого там, где весь род человеческий легко нашел бы себе средства к пропитанию»¹. И подобных суждений и обсуждений в 40-50-е годы было не так уж мало, так что на формирование представлений писателя о формах травелога они имели существенное влияние.

Читал ли Гончаров другие путевые тексты? Разумеется, да: и о карамзинской традиции, и о влиянии текстов Боткина уже много сказано. Вместе с тем ощутим и разрыв автора ФП с предшествующей литературой путешествий: «Иногда я просматриваю свои путевые тетради — какая нагая пустота! никакой учености, нет даже статистических данных, цифр — ничего. Ну как пошлешь что-нибудь к Вам — и что? Вот на выдержку вынул „Шанхай“: нет, нельзя, тут много ипотез чересчур смелых, надо сверить с какими-нибудь источниками, а я не мог одолеть даже отца Иоакима, а уж он ли не весело пишет?»² Именно с этим, кажется, связана и авторская редакция книги: «Снимаются «чрезмерности» в отдельных выражениях и описаниях... Заменяются более современными или простыми некоторые устаревшие или излишне «литературные» формы»³. Причина этого — именно в обилии путевых текстов, в которых преобладают подобные «экзальтированные» приемы. Например, вот типичный отчет путешественника о посещении Парижа английской королевой: «...в последней половине августа парижские улицы представляли истинное подобие вавилонского столпотворения, в котором, однако ж, среди хаоса

¹ Там же. С. 20

² Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. СПб.: Наука, 2000. Т. 3. С. 471.

³ Там же. С. 464.

звуков, принадлежащих всем языкам Европы, преобладал английский язык. Но миновалась неделя праздников, и Париж снова принял свой, озабоченный тяжелыми мыслями о войне, вид»¹. Логичным продолжением «праздника» становится рассказ о всемирной выставке как презентации «лица» государства и национальности.

Интересно и то, в каком контексте появлялись отдельные фрагменты ФП в русских журналах. Например, в третьем номере «Отечественных записок» за 1856 год опубликован очерк Гончарова о Сингапуре. Но в этом же номере в «Смеси» помещена заметка о вымирании населения Сандвичевых островов, столкнувшегося с «цивилизованным миром». Эти размышления о благах просвещения тесно связаны с повествованием Гончарова, как и сходная по содержанию заметка о «Народонаселении Китая»².

В разделе «Смесь» приводится анекдот, обошедший многие печатные издания и, вероятно, хорошо известный Гончарову. Персидский посланник, произведший фурор в Париже, так размышляет о проекте железных дорог через Азию:

«— Разве вы не признаете искусства наших инженеров?

— Нет, я отдаю им полную справедливость; но самая страна представляет неодолимые препятствия; вы знаете, в Азии очень много страусов...

— Что же из этого?

— Страусы, как известно, очень прожорливы...

— Но я не вижу, какое отношение между прожорливостью и предполагаемым проектом?

— Вы, вероятно, слышали, что их желудок в состоянии переваривать железо...

— Помнится, слышала; но в чем же наконец препятствие?

¹ Отечественные записки. 1855. № 9. Смесь. С. 25.

² Там же. С. 48.

— Страусы съедят рельсы, прежде чем работа будет окончена, — отвечает Ферук-хан с неподражаемой улыбкой...»¹

Страусы играют существенную роль и в повествовании Гончарова; они — основа существования кафров, так что «страусиная тема» в русской литературе путешествий еще ждет своих исследователей. Транспортное сообщение как основа связи между регионами и людьми вообще занимало Гончарова; фон его размышлений по этому поводу весьма обширен. В этом же номере журнала, к примеру, была напечатана статья «Железные дороги в Европе», которая, если и не привлекла внимания писателя, то в целом корреспондировала с пафосом ФП.

Разумеется, особый интерес в анализе контекста ФП может представлять «Морской сборник»; но этот материал, достаточно обширный, следует рассматривать особо.

Отдельного разговора заслуживает и влияние контекста ФП на другие замыслы Гончарова. Например, в 1857 году в № 3 «Библиотеки для чтения» (т. 142) публикуется рассказ М. Авдеева «На дороге» с эпиграфом «из частного письма»: «Наши женщины (женщины, а не барышни) в любви как-то тяжелы на подъем: они туги на любовь, их надо сначала долго раскачивать, чтобы подвинуть на чувство <...> они не прочь от чувства — но любят, чтобы это чувство вымогали у них, брали их, но с сотнею приговоров, как папоротник в Иванову ночь. В них нет свободного порыва, они просто нерешительны и щепетильны; исключения бывают только при мимолетных встречах где-нибудь на дороге...»² Этот пассаж можно сравнить с размышлениями о «женской любви» в романе «Обло-

¹ Там же. С. 56.

² Авдеев М. В. На дороге // Библиотека для чтения. 1857. Т. 142. С. 54.

мов»; а сюжет повести Ольги Н. «Старик», напечатанной в том же номере журнала, содержит многозначительные переключки с «Обрывом»; центр действия в повести — старая беседка в овраге, в углу сада. А фамилия героев (Лутвиновы) — просто подарок исследователям не только Гончарова, но и Тургенева... Впрочем, это лишь заметки на полях. А мы можем обратиться к следующим возможностям.

2. Гончаров и его последователи.

Здесь возникает несколько вполне предсказуемых сопоставлений, до сих пор не развитых сколько-нибудь обстоятельно. Вспомним, например, предысторию путешествия Гончарова: «Д<анилевский> замялся. Он в то время был помолвлен.

— Пошлите лучше Майкова. <...>

Д<анилевский> к Майкову. Тот и руками и ногами. Не хочет оставлять семью. Тут же в комнате сидит Гончаров. Вдруг Майков накинулся на него.

— Да поезжай ты, Иван Алекс <андрович>.

— Я! Что вы? Да я и с лежанки-то не сойду.

Он действительно проводил время чуть ли не на лежанке. Дальше Парголова в жизни своей нигде не бывал. И что же? Всеми неправдами вытащили его. Убедили его, боявшегося качки, что для него вел <икий> князь велел переделать и особенным образом приспособить каюту. Потом настращали, что приспособления уж сделаны, деньги на это затрачены. Это послужило отчасти толчком. Г<ончаров> побоялся, чтоб эти деньги не вычли у него из жалованья. Таково происхождение „Фрегата «Паллады»”¹

А теперь сравним с аналогичным фрагментом в книге Д. В. Григоровича «Корабль “Ретвизан”»:

¹ Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. СПб.: Наука, 2000. Т. 3. С. 400.

«— Кстати, о морях и мореходах, — сказал П., хозяин дома, — нынешний год снова назначены морские экспедиции, даже целых три: одна на Амур, другая в Пирей, в Грецию, третья в Средиземное море; Морское министерство не шутя начинает вести дела свои по-крупному!.. Знаете ли также, что на каждую из этих экспедиций приглашаются литераторы? Я знаю это из самых достоверных источников; меня просили даже узнать, нет ли желающих... Не хотите ли, господа? Стоит сказать “да” — я передам об этом кому следует, и дело решено! Не угодно ли, например, кому-нибудь на Амур?

— Слишком уж что-то далеко... — отозвались присутствующие.

— Ну, так в Пирей, в Грецию...

— На сколько времени?

— Не знаю наверное... кажется, на год...

— Слишком неопределенно...

— Ну, так в Средиземное море...

— На сколько времени?

— На год! — всего только на один год, господа! — сказал П. несколько даже умиленным голосом. — Такой экспедиции у нас еще не было; это, собственно, не столько сухая, скучная экспедиция, сколько пикник.

...— Повторяю вам, господа, — продолжал П., заметно воодушевляясь, — все это, в общей сложности, составит очаровательнейшую, поэтическую прогулку, какую когда-либо приходилось делать человеку!.. Не будь у меня на руках действительно серьезных дел по журналу, не будь я связан теперешними обстоятельствами, — я бы ни на секунду не призадумался... Вот вы, — промолвил он, — неожиданно становясь передо мною, — вы, который слушает теперь с таким вниманием, — скажите на милость, отчего бы вам, например, не поехать? Вы, с тех пор как я вас знаю, — а это очень давно, — вы не перестаете мечтать и говорить о путешест-

виях за границу, вы так страстно порывались всегда в Италию, — вот случай! Другого такого случая никогда уже не встретится!..»¹

Заметим, что и в том, и в другом случае организатором поездки выступает Панаев.

Сравнение можно продолжить и развить; в настоящей статье ограничусь лишь двумя цитатами. Так, у Гончарова: «И везде, во всех этих учреждениях, волнуется толпа зрителей; подумаешь, что англичанам нечего больше делать, как ходить и смотреть достопримечательности. Они в этом отношении и у себя дома похожи на иностранцев, а иностранцы смотрят хозяевами. Такой пристальной внимательности, почти до страдания, нигде не встретишь. В других местах достало бы не меньше средств завести всё это, да везде ли придут зрители и слушатели толпами поддержать мысль учредителя? Но если много зрителей умных и любознательных, то и нет нигде столько простых зевак, как в Англии. О какой глупости ни объявите, какую цену ни запросите, посетители явятся, и, по обыкновению, толпой. <...> Дурно одетых людей — тоже не видать <...> все причесаны, приглажены и особенно обриты... Улицы похожи на великолепные гостиные, наполненные одними господами»².

А вот как представлены Англия и английское у Григоровича: «Promenade des anglais, сводя на одну точку столько разных национальностей, весьма естественно, должна возбуждать соревнование гуляющих во всем, что касается наружного блеска. Отсюда эта страшная роскошь туалетов, лошадей, экипажей. Леди М. была вчера в таком-то платье, — давай и мне сегодня точно такое же! Вчера дети лорда N. гуляли в шотландском костюме, — давай

¹ Григорович Д. В. Корабль «Ретвизан» // Григорович Д. В. Сочинения: В 3 т. М., 1981. Т. 3. С. 8.

² Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. СПб.: Наука, 2000. Т. 2. С. 46.

Петруше и Кате шотландский костюм во что бы ни стало! И т.д. Не будь этой Прогулки Англичан, я уверен, наша соотечественница N. не попала бы в тюрьму за долги; нет сомнения, Promenade des anglais сильно способствовала к тому, чтобы погубить ее окончательно»¹.

Перед нами два путешественника, наблюдающих примерно одно и то же; но существенно различается угол зрения: «практический» в первом случае и «эстетический» во втором. Гончаров описывает нравы, Григоровича интересует художественное их отражение; именно в «Корабле...» формируются принципы его позднейшей художественной критики.

3. Детские и взрослые путешествия

Переход ФП в область детского чтения связан с изменившимися запросами публики — однако не только социология чтения здесь полезна; из сферы журнальных путевых очерков Гончаров попадает в сферу Жюль Верна и Луи Жаколио. Процесс этот весьма интересен; более того, интересно и проследить, как влияет текст Гончарова на формирование детских рассказов о Востоке, как фрагменты ФП попадают в компиляции для детей и как соотносится книга с приключенческими повествованиями о Южных морях (например, с детскими романами М. Н. Волконского, печатавшимися в журнале «Вокруг света»).

4. Имагологический контекст ФП

Текст Гончарова вписывается в ряд русских «заграничных путешествий» и потому подлежит исследованию с позиций имагологии, в первую очередь в тех аспектах, которые связаны с созданием «образа другого»; здесь следует упомянуть о книге Дерекка Оффорда «Путешествие на кладбище», в которой развитие темы «русские в Европе»

¹ Григорович Д. В. Корабль «Ретвизан» // Григорович Д. В. Сочинения: В 3 т. М., 1981. Т. 3. С. 108.

связано с постановкой трех групп вопросов. Первая касается литературной формы путевых заметок. Насколько пластичен данный жанр? Какое значение придается в рамках этих текстов реальным жизненным впечатлениям и впечатлениям литературным? В какой степени воспринимают литературную традицию авторы путешествий и насколько на них можно вообще полагаться? Реализация канонов «путевых записок», создание идеальных моделей требует решения этих вопросов. ФП — ни в коем случае не «модельный текст», однако...

Вторая группа вопросов, выдвинутых Д. Оффордом, ближе к ведомству «интеллектуальной истории». Отразились ли в путевых заметках революционные течения русской мысли? Как формулируется в них отношение к Европе вообще и к либерализму, «политическому течению, наиболее тесно связанному с западным миром»¹. Предлагаются ли какие-то ответы на вызов буржуазного мира? И опять же, если б перед нами было исследование по истории идей, автор с полным душевным спокойствием мог бы остановиться на решении только этих вопросов.

Но наиболее важной Д. Оффорд считает все же третью группу проблем: «что могут нам поведать записки путешественников о восприятии русскими русской национальной самости». Уже в постановке вопроса используется известное понятие «идентичность». Ярче всего специфическая трактовка этого понятия воплощена Оффордом не в ссылках на классиков данного направления (таких, Х. Рам, И. Дж. Хобсбаум и Л. Гринфельд), а во вступительном пассаже: «Поиск ответов на эти во-

¹ *Offord D. Journeys to a Graveyard: Perceptions of Europe in classical Russian travel writing.* Dordrecht: Springer, 2005. (International Archives of the History of Ideas. 192). С. xxiii.

просы <...> связан с вестернизацией русской социальной элиты и дальнейшим созданием вестернизированной интеллектуальной и культурной элитой (которая получила наименование «интеллигенция»), когда эти изменения вынудили русских задуматься об их собственной идентичности»¹. В моем буквальном переводе эта фраза, теряя звучность и красоту, обретает определенность. Заодно становятся понятны и основные принципы имагологического исследования; дело не в том, западником или славянофилом оказывается автор, а в том, как совершается осмысление идентичности в путевом тексте. Офффорд не рассматривает текст Гончарова, давая весьма туманное объяснение (ограниченность материала, краткость пребывания в Европе) — однако наиболее важна негативная оценка Англии и ее причины, анализ которых лежит вне плоскости исследования Офффорда. Здесь «колониализм» автора ФП требует иных подходов; отчасти реализованных в недавней книге Барбары Буш «Постколониализм и империализм»². Очень многие выводы, в ней сделанные, важны для гончароведов; но и этот подход не исчерпывает возможностей исследования ФП.

5. Наконец, перед нами вырисовывается весьма важная проблема художественного воплощения иного — точнее, репрезентации. Анализируя ФП с точки зрения теории репрезентаций, мы приходим к выводу, что традиционно прилагаемая к материалу Гончарова антитеза «странствователь-домосед»³ не имеет существенного значения. Важно не только знание, но и осознание, не только

¹ Там же. С. xxiv.

² *Bush Barbara*. Imperialism and postcolonialism. Pearson education limited, 2006.

³ *Строганов М.В.* Странствователь и домосед // Строганов М.В. Человек в русской литературе первой половины XIX века. Тверь: ТвГУ, 2001. С. 148.

анализ, но и его предпосылки. Об этом превосходно пишет Ола Сёдерстрём в книге «Культурная география»: «...критика этого уравнивания (наука/знание = репрезентация) была одним из центральных тезисов в современной философии. В 1970-х так называемая “радикальная география” предлагает альтернативные репрезентации города. Уильям Бандж, например, наносит на карты городские реалии, не представленные в географическом мейнстриме: пространства смерти или пространства, заполненные механизмами»¹. Подобные «альтернативные» образы цивилизованного мира формируются в травелогах XIX столетия; в русле этого движения и книга Гончарова. Но еще важнее «радикальной географии» так называемые «новые географии», начало которым положил Найджел Трифт, который «отрицал эффективность репрезентационных моделей мира, сосредоточенных на “внешнем”, моделей, основу которых составляют символические репрезентации, а вместо них предлагал обратиться к нерепрезентационным моделям, основанным на “внутреннем”, к моделям, восходящим к действиям и взаимодействиям»². Взгляд «изнутри» и взгляд «извне» — две принципиально различные системы, создающие применительно к тексту Гончарова важнейшую концептуальную границу «свое-чужое». Сосуществование «символических репрезентаций» и «действий и взаимодействий» — не просто особенность литературы путешествий, а основа ее двойственности, «свое» становится действием, «чужое» репрезентируется, но точные закономерности на материале ФП предстоит еще выстроить.

¹ Cultural Geography. A Critical Dictionary of Key Concepts / Ed. by David Atkinson, Peter Jackson, David Sibley, Neil Washbourne. L.;NY: J.B. Tauris, 2005. С. 12.

² Thrift N. Spatial Formations. London: Sage, 1996. С. 6.

Литературе путешествий нужны две крайние точки: исходная и кульминационная. Путешествие совершается *откуда-то* и *куда-то*. И если нет «*откуда*», то какой смысл в «*куда*»? И этот вопрос о смысле высказывания пока остается открытым.

Литература путешествий не позволяет исследователям создавать примитивные конструкции — в истории жанра, в рамках интеллектуальной истории и в рамках концепции идентичности. И текст Гончарова по-прежнему предоставляет нам массу исследовательских возможностей — стоит лишь заметить, что усилия путешественников по большей части вознаграждаются. А изучение ФП в широком контексте литературы путешествий — важная задача, которой можно посвятить не одну монографию.

**«Очерки нынешней общественной жизни
в России» в творческой биографии
В. П. Мещерского**

В 1860-х годах в русской публицистике огромное значение приобретает жанр путевых писем — самые разные авторы стремятся выразить впечатления от преобразований в наиболее эффектной, «личностной» и в то же время типической картине: «Пореформенные публицисты разных направлений часто облакали свои выступления о русской провинции и деревне в эпистолярную форму, чтобы придать им большую силу достоверности»¹. Впрочем, большая часть подобных «писем» далека от объективности: «Ездили, кажется, собственно для того, чтоб разглашать, что они сами, на местах, видели весь вред крестьянской и судебной реформы и земских учреждений...»²

Владимир Петрович Мещерский (1839-1914) в 1860-х гг. был близок царской семье, состоял чиновником для особых поручений при министре внутренних дел. Сейчас его имя вспоминается разве что в связи с изданием «Гражданина» и с «консервативной» политической программой. А в конце 1860-х Мещерский выбрал литературную карьеру; в 1867 году он оставил службу — публика в следующие десятилетия прочла несколько десятков томов «светских романов», в которых под прозрачными псевдонимами выводились реальные лица, а также немалое количество публицистических текстов. Материалы для последних Мещерский по-

¹ Гурвич-Лицинер С. Д. Комментарии // Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 7. М: Художественная литература, 1969. С. 589.

² М. М. Стасюлевич и его современники. СПб., 1901. Т. 1. С. 503.

черпнул частью из служебных поездок. Особенно это очевидно в самом объемном сочинении князя: «Очерках нынешней общественной жизни в России»¹.

Этот текст написан чиновником, приверженцем действующей власти и сторонником институтов, созданных властью: «...общая картина жизни в данной местности есть как бы уголок той величественной картины настоящего времени на Руси, которая видится и чувствуется каждым из нас. На развалинах старой России, старой в смысле отживших форм ее народной жизни, священной и могучею рукой богом осеняемого венценосца воздвигается мудро и заботливо Русь новая в своих главных учреждениях». (2). Описанием учреждений Мещерский и занимается; естественно, его привлекают организованные структуры, а не люди. Тверская губерния — первый, исходный пункт путешествий. Поэтому и представлена она в известной мере оплотом старины.

Достаточно привести такую пафосную характеристику: «Тверская губерния, колыбель Волги, есть как бы в то же время колыбель той торговой жизни, которая от весны до осени, соединяя самые отдаленные промышленности с Волгою, кипит на ее протяжении...» (4-5). В «Кавказском путевом дневнике», например, Мещерский связывает процветание региона напрямую с монаршей волей. В среднерусской провинции причины иные. «Слава тверских купцов», оказывается, не убывает, а возрастает со временем — Москва, Петербург, Европа оказываются тесно связанными с Тверью. «Торгов-

¹ Мещерский В. П. Очерки нынешней общественной жизни в России. Вып. 1. Письма из средних Великороссийских губерний за 1867 год. Спб., 1868. Далее цитируется по этому изданию с указанием страниц в тексте.

ля Тверской губернии обращает на себя внимание разнообразием ее видов» (5).

Далее Мещерский предлагает вниманию читатель-лей перечень тверских товаров, создающих славу региона и составляющих основу представлений о Тверском крае: «...местная промышленность, составляющая почти половину всех предметов торговли в губернии. Промышленность ее так же, как и торговля, ведет свои летописи издревле. Они повествуют о том, как из века в век, из поколения в поколение, Осташков, например, производит свои осташи в количестве до 250000 пар, приблизительно тысяч на десять рублей, свои железные изделия на сумму до 100000 рублей; крестьяне корчевские и калязинские свои сапоги, башмаки и т.п. на 400000 рублю; Торжок свои золотошвейные изделия до 8000 р.; Тверь и уезд свои гвозди на сумму до 300000 р.; бежецкий уезд свои холщовые мешки ценностью до 200000 р.; Ржев свою пеньковую пряжу с оборотами до 800000 р.; село Муравьево свои тысячи топоров и т.д., словом, нет уезда, где бы не было своего промысла и своих заработков, общая сумма которых простирается свыше 2000000 руб.»¹ (6) Путешественника занимает не только статистика, но и условия процветания русских губерний: «Как бы незначителен промысел ни был, главное условие его существования есть с одной стороны добросовестность в изделии, а с другой — доверие в эту преемственную из рода в род добросовестность» (7). Мещерский, стараясь сделать определенные прогнозы, дает подробное описание влияния железной дороги на провинци-

¹ Ср. перечисление товарных специализаций местностей России XVIII в. в «Стихах на семик» (1769) М.Д. Чулкова (Клубков П. А. «Замками славен Тверь, а Новгород сыр-тями...» // Провинция как реальность и объект осмысления: Материалы научной конференции. Тверь: ТвГУ, 2001. С. 47-53).

альную среду — исчезновение мелких промыслов (сало, пенька), мелких пристаней, мелких водных систем (вышневолоцкой). Исследуя промышленное развитие, он не уклоняется от «духовной сферы», всячески подчеркивая, насколько тесно связаны в Тверской губернии промышленность и нравственность.

Централизация государственной жизни, по мнению князя, коснулась и «нравственной сферы» — «железная дорога <...> отдалила Тверь от прежнего тяготения к Москве и приблизила ее к Петербургу. В разговоре <...> вы слышите все о Петербурге и редко о Москве, так что прежнее, древнее звание Твери “Тверь городок — Москвы уголок” — почти вовсе к ней неприменимо. <...> Железная дорога отняла у губернии, там, где они были, ее народные нравы, ее особенный характер, ее народные платья, ее обычаи...» (13).

Тональность описаний существенно меняется в разных письмах даже в пределах одной губернии. В ржевских главах преобладает «гордость» и «умиление»: ведь это «родной уездный город на Руси с широкими улицами и серыми деревянными домами; но проехав еще немного и еще глубже, увидели щегольство в красивых и чистеньких каменных домах, <...> в ряду которых выдаются и такие, которым не стыдно было бы стать хоть на Большой Морской в Петербурге или на Тверской в Москве» (14). Путешественнику в подобных условиях легко перейти от статистики к возвышенным размышлениям: «...незаметно от банального взгляда на улицу мысль вводит приезжего в тот великий храм науки, где летописи повествуют о днях былых, а жизнь на улицах, площадях или в домах говорит о том, что значит этот широко раскинутый город в ряду городов русских, что значат эти богатые на вид дома...» (14). Три определяющих первых впечатления оказываются положительными — «большой», «богатый» и «древний» город.

Все недостатки Ржева оказываются, по мнению князя, преувеличенными. Раскольники здесь пребывают в разброде, их становится все меньше, а расколуучители посрамлены и забиты. Даже бунт раскольников в 1857 году описан с пренебрежением, вполне понятным для цивилизованного путешественника: «С тех пор раскольники, утратившие ржевское роговское кладбище, утратили в то же время свою силу, свое единство и свои средства влиять на толпу роскошною и величественною обстановкой. Легкое и постоянное сообщение с Петербургом цивилизует ржевское население в петербургском смысле, <...> благотворно действует на ослабление расколичьего фанатизма» (18). Дальнейшее развитие (в том числе промышленное) должно, по мнению Мещерского, с нравственными «шатаниями» покончить: «К сожалению, отсутствие средств к образованию во Ржеве не дает этим выходцам из раскола стать на твердую почву и ограничивает признаки присоединения к православию курением табаку, правом не ходить в церковь и одеваться по московским и петербургским модам» (18).

Богатство города имеет и внешние проявления — здесь нет обвалившихся домов и нет нищих. Основная причина этому — торговля, прежде всего пенькой. Хотя и находящаяся в упадке, но традиционная составляющая все же обеспечивает городу процветание. О пряже Мещерский рассуждает долго и постоянно подчеркивает важность традиционность промыслов в промышленную эпоху: «...из рода в род Ржевский мещанин прожил всю жизнь свою на этих прядильнях» (20). Информативность приносится в жертву утверждению традиционных ценностей; условные статистические данные не могут содержать никаких реформаторских установок.

То же относится и к льноводству, которое совершалось крестьянами для домашнего употребле-

ния, только вмешательство образованных людей (купцов) привело к развитию производства. Даже о самых «низких» промыслах Мещерский не забывает, включая их в общую схему процветания. Так, он пишет о выделке рогож: «...несмотря на простоту и дешевизну, есть степень изящества в отделке» (23). Впрочем, во всяком промышленном развитии есть и теневая сторона, даже в «славном» Ржеве. Фабрики здесь — «душные и сырые подвалы», «пробыв минуты две, мы почувствовали что-то вроде дурноты и должны были выйти на свежий воздух; но рабочие до того свыклись с этой тюрьмой, что живут в ней припеваючи, поют песни и смеются» (23). Никаких оценок, разумеется, Мещерский в данном случае не ставит.

В ржевских главах, в отличие от последующих, даже пьянство оценивается снисходительно: «С тех пор, как водка стала дешева, в народные торги на ярмарках и базарах придача к сделке покупателя с продавцом штофа водки стала условием неизменным...» (25)¹. Гораздо опаснее другие пороки, для крестьян не столь характерные. Ржев «украшается, обустройствается, роскошь растет и с каждым днем становится прихотливее и доступнее <...> Роскошь изнежила и ослабила поколение купцов» (25-26). И по этому поводу Мещерский выступает весьма решительно.

Общественная жизнь в уездном городе воспринимается как пребывающая «во младенчестве» (27). «Земские собрания наткнулись, с самого начала своих действий, на невозможность иметь точные сведения о нынешнем состоянии сельского хозяйства» (8). Городские головы в уездных городах Тверской губернии — «купцы-патриции», «полезное управление». Город Ржев небогат, судя по его дохо-

¹ См. о пьянстве крестьян в других путевых текстах 1860-х. Напр., Кошелев А. Из провинции // Санкт-Петербургские ведомости. 1867. № 82, 24 марта.

дам, но «виноват не город» (29). Однако даже деятельность для пользы города не обеспечивает благодарности горожан. В пример Мещерский приводит судьбу Евграфа Васильевича Берсеньева¹, городского головы, создавшего облик Ржева и обеспечившего основу системы благотворительных учреждений, о которых Мещерский пишет с тривиальным умилением: «...столько нелицемерной любви к невинным малюткам и столько теплого и нежного участия к их развитию» (33). Конкретные биографии, изложенные Мещерским, позднее использованы другими романистами (в частности Е. А. Салиасом), а сам чиновный путешественник этими сюжетами пренебрегает. Признавая провинциальный город, при всех его достоинствах, в целом малозначительным, автор проецирует свои представления и на жителей этого города. Положительные свойства окружающего их мира они оценить не в силах.

Не называя других имен, путешественник распространяется об общих «гражданских» пороках: «Равнодушие и неохота большинства граждан стремиться к своим собственным выгодам, без тягостей чрезвычайных расходов для города» (35). И вполне очевидно, что немногие благотворители не получают подобающей оценки их заслуг: «Ржевскому городскому обществу <...> как будто досадно сознавать, что есть же на свете и в самом Ржеве столь замечательно добрые люди» (38). Признавая провинциальный город, при всех его достоинствах, в целом малозначительным, автор проецирует свои представления и на жителей этого города. Положи-

¹ Ср. о нем в дневнике А. Н. Островского (запись от 6 июня 1856 г.): «В субботу поутру был у Евграфа Васильевича Берсеньева. Прекрасный, умный человек, старообрядец в лучшем смысле слова» (*Островский А. Н. Полное собрание сочинений. Т. 13. М.: ГИХЛ, 1952*).

тельные свойства окружающего их мира они оценить не в силах.

Мещерский еще не предлагает в этих очерках «поставить точку» в реформаторской деятельности (это станет его девизом позднее, в эпоху «Гражданина»). Но оценки результатов реформ демонстрируют, какое место желает автор определить новым учреждениям: «Вот внешняя сторона земского дела в Ржевском уезде в первый год его существования. Что же касается внутренней стороны, то, насколько мы могли судить, и она представляет много светлого, отрадного и прочного. Здесь не играют в парламент, нет палаты общин, ни палаты лордов, ни правой, ни левой сторон; но есть честные труженики, дружно соединенные во имя великих и священных интересов, на них возложенных. Они работают много и, работая, проникнуты важностью своей задачи в нынешнем и величием этой задачи для будущего» (52). С этими благостными мыслями путешественник покидает Ржев, продолжая путешествие по губернии. И тут начинается самое интересное...

Путь от Твери до Торжка описан совершенно в иной тональности, нежели Ржев — будто это другая губерния и вообще другой мир: «На пути, в мертвом затишьи, нас окружавшем, мы почувствовали, как покинута эта некогда славная большая дорога <...> а в деревнях как много изб со следами роскоши в архитектуре и размерах клонится на сторону и глядит сумрачно <...> Ямщики говорят о богатстве прежнем, о раздолье старом, а затем о тоске и бедности нынешних». Здесь Мещерский решительно отказывается от прежней установки на гармоничное соединение старого и нового в провинции. Даже во внешнем облике Торжка очевидно, что «поэзия» старого города в новые времена становится дурной «прозой»: «От избытка поэзии в разнообразии и в этой разбросанности зданий страдает проза, — проза общественного благо-

устройства, проза глаз, привыкших к стройности и чистоте зданий, проза ног, подвергаемых опасности от ужасного состояния улиц, проза лбов, иногда натыкающихся на стены, благодаря ночному мраку улиц и наконец, проза гигиены...» (53). Единообразие оказывается предпочтительнее. В отличие от Ржева, город Торжок богат — но жизни общественной в нем нет, и от этого богатство обращается в бедность, при наличии таковой жизни — в стереотипном, отстаиваемом автором варианте — все помехи должны исчезнуть.

Замкнутость провинциального города оборачивается затхлостью, бережливость — скупостью, приверженность обычаям — притворством. Текст Мещерского начинает парадоксальным образом переключаться с драмами Островского: «На каждом доме есть отпечаток того, что он построен в силу крайней необходимости; каждая улица, каждый мост проходимы настолько, насколько это нужно, чтобы кое-как дойти или доехать шагом до места назначения»; «Одна лишь свадьба в семье обязывает хозяина дома дать пир после венчания, а затем ничто, кроме смерти, не объединяет здешнее городское туземное общество <...> мысль, проявляемая в громадных оборотах хлебной торговли, как будто поглощает всю духовную жизнь новоторжского купечества» (55); «Уличная жизнь или беседа имеет причину неохоту хозяев пускать к себе в дом» (60).

Даже торговля, о которой Мещерский столько писал, утрачивает свою ценность — это «что-то вроде священнодействия, не имеющего никакой связи с движением времени» (56). «Староверье» — это слово чаще употребляется не в описании Ржева, а как раз в описании Торжка, в котором новое упорно не приживается: «О воспитании в гимназии не может быть и речи; с этою мыслию каждый отец связывает предчувствие неминуемой гибели торгового дела во всем семействе» (57). Железная

дорога через Торжок не прошла тоже от нежелания купечества. Этот протест — проявление невежества или самобытность? У Мещерского выходит — и то, и другое: «наша жизнь еще не выработала прочных основ для гармонического и разумного сочетания требований образованности с неизменными началами всякого времени и всякого общественного дела» (58). Описывая «свежие силы» купечества, автор подчеркивает их исконный, неизменный характер: «Не берегут ли они эти деньги, эти грубые силы до времени...» (58). Слияние личного труда с общественной жизнью Мещерский описывает весьма отвлеченно, к Торжку этих картин не применяя.

И разобраться, что к чему в этом городе, кажется невозможным. Сначала путешественник пытается отталкиваться от документов, но увы: «К сожалению, статистическая часть везде в России так забита и забыта, что нередко самые существенные вопросы <...> остаются без разрешения» (10). Потом он стремится лично познакомиться с тесным и замкнутым мирком новоторжских промышленников: «С приемами петербургского чиновника подошли мы к этому замкнутому и несообщительному миру купечества, имея в виду получить от него кое-какие сведения о хлебной торговле, и должны признаться, на первом же шагу нашего похода потерпели сильное поражение. Гостеприимный и весьма любезный городской голова предложил нам для этого свои услуги и взялся устроить это дело; но вероятно, из желания угостить по русскому обычаю на славу, он не предвидел, что угостить сообщительностью новоторжского купца не так же легко, как принять в дом свой ласково и радушно, и вследствие этого попали мы в общество нескольких тузов-капиталистов, в котором, пока дело шло об общих сведениях о хлебной торговле, мы удостоивались ответа, но как только коснулись дела каждого из них, мы встретили решительный отпор,

против которого бороться было невозможно и нелюбезно» (60).

Печальна судьба народных промыслов в этом городе. Шитье торжокское «дремлет уже несколько лет в положении полузаброшенного ремесла». Причина неизвестна — не то железная дорога, не то «отсутствие правильного заведования рабочими и сбыта» (65). Но автор полагает основной причиной дороговизну и исчезновение местных элементов в наряде. «Мастерицы опасаются пробудить это мастерство так, чтобы оно вышло из-под их опеки» (66).

Все попытки внедрить образование в Торжке оказываются до сих пор тщетными. Рассказ Мещерского о здешних училищах — это даже не обличение, а выражение какой-то скорби и покорности неизбежному злу (для правительственного чиновника очень нетипичное отношение): «Смотритель училища — молодой священник; он пылает ревностью переродить училище и вносит, по видимому, в отношения свои к ученикам известную долю скромности, но верно есть на дне этого мира, именуемого духовными училищами, много зла и много препятствий к добру, прикрытых и неразъясненных, если всякое усилие к улучшению его остается бессильным и бесплодным. Эти недостатки духовного училища еще более выясняются, когда сравниваешь его даже с училищем уездным, где те же недостатки, та же бедность в средствах, та же неподготовленная, но гораздо более грубая почва в учениках, но где мы нашли осязательные следы если не переворота, то все же поворота в хорошую сторону» (68). Мировые суды, которые могут быть идеально устроены во Ржеве, в Торжке работают почти анекдотично: «В Ржеве двое мировых судей, в Торжке один, несмотря на то, что жителей почти одинаковое число; вследствие этого при добросовестности судьи выходит то, что мы застали в Торжке. Мировой судья два раза падал в

обморок во время разбирательства дела от изнурения, так как для исполнения своих обязанностей по совести он должен был ежедневно сидеть в суде от 10-ти до 4-х, а вечером от 7-ми до 11-ти <...> Для иного крестьянина и то кажется лучше, что волостной судья в добрый час рассудит за вино, а мировой так не то, рассудит и накажет по вине» (71-72).

Устные предания XVIII века, которые в торжокских письмах приводятся в изобилии, имеют в основном патерналистское содержание. Доброе старое время представлено как своего рода монархическая утопия с оттенком иронии: так, в городе был свой самодержец — голова Морозов, местные жители даже в поединок со свитой Екатерины вступали, но были биты кнутами, а после прощены по ходатайству того же Морозова. Картины упадка «старого мира» сменяют друг друга — а Торжку и уезду уделено в письмах не меньше места, чем Ржеву.

Но есть в дальнейших главах писем князя и другие любопытные элементы. Эстетизация провинциальных впечатлений принимает у Мещерского прямо-таки извращенный характер¹. Здесь вполне уместно сравнение с другим путешественником, побывавшим в Твери в это же время и увидевшим много разных красот. Сопоставление может показаться странным — очень уж далеки были друг от друга эти люди. Однако впечатления Мещерского перекликаются с той апологией прекрас-

¹ Заметим, что в 1860-х годах князь еще не был столь одиозной фигурой. Многочисленные обвинения в извращенных сексуальных вкусах, слухи о «загадочных» отношениях с наследником, эпиграмма Вл. С. Соловьева «Содома князь и гражданин Гоморры» — все это в будущем. Впрочем, некоторые наблюдения для формирования репутации князя можно сделать и на материале очерков.

ному, которую создал на тверском материале Теофиль Готье. Французский писатель побывал в городе в августе 1861 года, когда отправился пароходом в Нижний Новгород на ярмарку. Готье увидел в Твери «феерический», «прекрасный», полный новых красок и звуков мир: «Казалось, я прибыл на другую планету, куда свет доходит преломленным сквозь призму какой-то неведомой атмосферы»¹. Прогулка путешественника по губернскому городу снабжает его множеством новых впечатлений; даже повседневные действия людей в глазах художника обретают красоту: «На пароме женщины стирали белье. Не довольствуясь силой рук, они мяти белье ногами, как это делают арабы. Эта занятная деталь заставила меня сделать мысленный прыжок к мавританским баням Алжира, где я наблюдал, как молодые яулет² танцевали в мыльной пене на банных полотенцах...»³. А вот князь Мещерский любит мастеровыми, заглядывая в грязные подвалы и в цеха: «В его движениях, несмотря на их однообразие, видны уверенность, стройность, ловкость и даже изящество, когда он, обвязав себя около пояса пенькою, мерным шагом идет назад и вытягивает нить во все пространство прядильни, без малейшего наклона в ту или другую сторону» (30). Конечно, совпадения случайны, но поиски «красоты» у профессионального художественного критика и «светского чиновника» оказываются во многом однотипными. И, разумеется, в неожиданно пробуждающемся интересе Мещерского к далеким от промышленности «эстетическим» сторонам жизни очевидно нечто не вполне естественное.

¹ Готье Т. Путешествие в Россию. М.: Мысль, 1988. С. 352.

² Слово обозначает у алжирцев разговорное «парень», множественное число – «ребята» (прим. Т. Готье).

³ Готье Т. Путешествие в Россию. С. 353.

Но эта лишь одна сторона гораздо более сложной картины мира, открывающейся нам в «Очерках...». В первых главах нет параллелей между Россией (в данном случае — Тверской губернией) и Европой. Здесь близость к столицам мешает построению условных антитез. А Иваново, например, в последующих письмах неоднократно именуется «Русским Манчестером». Что уж говорить о западных губерниях, где практически все напрашивается на сравнение с европейским опытом? Но именно в Твери, избегая сопоставлений и резко меняя оценки от письма к письму, Мещерский находит свою модель повествования, городской материал ему важен для создания схемы описания губернских дел.

Мещерский «осторожен» — особенно в крестьянском вопросе, из-за «безгласности сословия о себе самом» (75). Мещерский призывает отказаться от «предвзятых теорий», но ничего специфически тверского, местного и конкретного в рассуждениях о принятии манифеста крестьянами не обнаруживается — «великое дело освобождения» подвигается везде одинаково. Одинаковы и «две причины, способствующие к ухудшению крестьянского быта: пьянство и семейные разделы» (80). То же можно сказать обо всех прочих губерниях; везде одинаково обстоят дела и с крестьянскими банками, и с училищами, и с благотворительностью. «Недостаток развития нравственного» выражается преимущественно в лесных порубках у помещиков и тому подобных повсеместных хозяйственных проблемах.

Несколько более интересны, на первый взгляд, сведения о ржевских крестьянах, вынесенные в отдельное письмо: «При отъезде из Ржева нас устрасали последними часами крестьянского разгула и веселья; но к немалому удивлению, проезжая по деревням накануне поста, мы не только не встретили пьяных, но вообще были поражены безмолвием и безлюдьем на улицах» (85). Причина проста:

«С раннего вечера вся жизнь перенеслась в избы», осуществилось «слияние религиозного и светского». Слияние это выглядит весьма неприглядно: «Во дни разговления водка кажется еще вкуснее и действует сильнее» (88). И здесь Мещерский вновь ограничивается двумя основными бедами и нормативными средствами их преодоления: «...порядок, труд, нравственность и строгое исполнение законов — единственное условие их благосостояния» (99).

За обилием фактов скрываются в общем-то predetermined заранее выводы. В этом убеждают письма, отправленные из Твери еще во время первой поездки в губернию в 1863 году. Именно тексты писем объясняют, почему так сухо князь рассказал о Твери, почему высоко оценил Ржев и почему создал такой непривлекательный образ Торжка. Все упирается не в состояние крестьянства и купечества; всему виной — дворяне-«реформаторы», которые занимаются политикой, а не хозяйственными реформами. Там, где представители высшего сословия забывают о своих обязанностях, о своей роли в Системе, не может быть процветания. Именно так описана Тверская губерния (и прежде всего Новоторжский уезд) в письме цесаревичу Николаю из Твери от 27 ноября 1863 г.: «Здесь мировые учреждения с их представителями резко разделяются на два лагеря: лагерь консерваторов и лагерь либералов. Целые уезды составляют отдельные лагеря: Новоторжский, например, есть главное поприще либеральных деятелей-посредников! Это родина Бакуниных. Зато ни один уезд в России так плохо не вёл дело составления уставных грамот: более половины не окончено, так что приходится отправлять туда мировых посредников из других уездов. Само собою разумеется также, что нигде так скверно не взыскиваются подати, повинности и оброки, как в Новоторжском уезде; словом, нигде дешёвый либерализм не зая-

вил себя столь торжественно несостоятельным, как в Тверской губернии...»¹. Разочарование в нравственных и производительных силах провинции было весьма глубоким: «Увы! Вглядываясь в наши центры промышленности и торговли, каковы Иваново, Рыбинск и другие, выносишь грустное впечатление: нет в них могучей общественной жизненной силы, способной создавать и хотеть самостоятельно; всё разрозненно, всё пропитано узкими заботами как бы нажить рубль на рубль, но в то же время к всему другому всё безжизненно и с какою-то болезненной апатией ищет над собою опеки и под её игом произносит, как бы сквозь полусон вечную фразу: “виновато правительство”! <...> «Какое правительство в состоянии и управлять, и с тем вместе думать и действовать за каждого из 60 миллионов в государстве!»².

Таким образом, оценки Мещерского легко объяснимы политическими пристрастиями; понятна и композиция очерков, и расположение материала по отдельным письмам. Сначала даются тверские статистические выкладки, потом идет речь о ржевских «успехах», далее подробно разбираются новоторжские «недостатки». Отбор деталей осуществляется путешественником в строгом соответствии с «государственной» установкой. Но это не вполне объясняет схематизма самого образа Твери и губернии; побывав в обеих столицах, Мещерский должен был наибольшее внимание обратить на своеобразие города, находящегося между Москвой и Санкт-Петербургом. Вместо этого автор «Очерков...» создает описание стандартизованного со-

¹ РГАДА. Ф. 1378. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 16-16 об. Цит. по: Дронов И. Е. Путь консерватора // Князь В. П. Мещерский. Гражданин Консерватор. М., 2005. С. 28.

² Письмо Мещерского цесаревичу от 3 июля 1867 г. с парохода «Наяда» на Волге между Рыбинском и Тверью // ГА РФ. Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 894. Л. 260-260 об.

циума, своего рода «ячейки империи», и отсекает все, что не соответствует ролевой модели, избранной для целого региона. Здесь объяснение тоже очень простое: Мещерский — бюрократ и защитник бюрократии¹; его знание провинциального материала — книжное, и он к этому материалу подходит с уже готовыми системами классификации. В нашем случае Тверская губерния оказывается полигоном для идеологического моделирования; статистические выкладки это важнейшее свойство очерков маскируют, но не скрывают окончательно. Образ, создаваемый Мещерским, очень важен для истории публицистики на провинциальные темы, но непосредственно к знанию о Твери ничего не добавляет, хотя и передает специфические воззрения автора и содержит определенные элементы художественного воздействия на «публику», которая в конце 1860-х к подобным письмам чутко прислушивалась, а рассуждения о связи промышленности и нравственности в устах сторонников промышленного развития воспринимала как нечто должное.

Таким образом, оценки Мещерского легко объяснимы политическими пристрастиями; понятна и композиция очерков, и расположение материала по отдельным письмам. Автор «Очерков...» создает описание стандартизованного социума, своего рода «ячейки империи», и отсекает все, что не соответствует ролевой модели, избранной для целого региона. Здесь объяснение тоже очень простое: Мещерский — бюрократ и защитник бюрократии (См. об этом: *Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 7. М: Художественная литература, 1969. С. 610-612*); его знание провинциального материала — книжное, и он к этому материа-

¹ См. об этом: *Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 7. М: Художественная литература, 1969. С. 610-612.*

лу подходит с уже готовыми системами классификации. В нашем случае центральные губернии оказывается полигоном для идеологического моделирования; статистические выкладки это важнейшее свойство очерков маскируют, но не скрывают окончательно. Образ, создаваемый Мещерским, очень важен для истории публицистики на провинциальные темы (и для истории русского романа на темы «современные»), но непосредственно к знанию о русской провинции ничего не добавляет, хотя и передает специфические воззрения автора и содержит определенные элементы художественного воздействия на «публику», которая в конце 1860-х к подобным письмам чутко прислушивалась, а рассуждения о связи промышленности и нравственности в устах сторонников промышленного развития воспринимала как нечто должное.

**Гостиницы, салоны, пансионы:
из комментария к «Отрывку дневника 1857
года» Л. Н. Толстого**

Наблюдения, представленные в настоящих заметках, весьма разнородны — и тем не менее взаимосвязаны. И начать стоит с общеизвестного: «В начале апреля 1857 года, после полуторамесячного пребывания в Париже, Толстой приехал в Швейцарию. Проведя две недели в Женеве, <...> он поселился в Кларане. В ближайших окрестностях Кларана проживало еще несколько русских семейств, с которыми у Льва Николаевича завязались дружеские отношения...»¹. С 27 мая по 6 июня Толстой совершает путешествие (сначала пешком, потом — на дилижансе). Расширенный вариант дневниковых записей составил «путевые записки», более известные как «Отрывок дневника 1857 года».

Толстовское путешествие по Швейцарии достаточно подробно откомментировано — указан маршрут, установлены упоминаемые в тексте лица и реконструированы некоторые эпизоды, однако «литературный» фон произведения привлекал внимание исследователей в меньшей степени. Вместе с тем соотнесение текста Толстого с русскими путешествиями 1840–1850-х гг. позволяет выявить некие закономерности в изображении Швейцарии.

И начать, наверное, надо с этой традиции. В работах К. А. Степаняна и Н. Е. Меднис ставилась проблема «швейцарского интерпретационного кода»², основу которого исследователи небезоснова-

¹ Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М.: Худ. лит, 1928–1958. Т 5. С. 316.

² Меднис Н. Е. Швейцария в художественной системе Достоевского (к проблеме формирования в русской литературе швейцарского интерпретационного кода) // Toronto Slavic Quarterly. 2004. № 1(11).

тельно видели в «Письмах русского путешественника». «Первоначально Швейцария изображалась не столько как культурное пространство, сколь как царство первозданной природы, аналог Земного Рая, идеальное место для формирования “естественного человека”. Уже я наслаждаюсь Швейцарией, милые друзья мои! Всякое дуновение ветерка проникает, кажется, в сердце мое и развеивает в нем чувство радости. Какие места! Какие места! Отъехав от Базеля версты две, я выскочил из кареты, упал на цветущий берег зеленого Рейна и готов был в восторге целовать землю. Счастливые швейцарцы! Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастье, живучи в объятиях прелестной природы, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному Богу?»¹ — пишет Карамзин. Описание швейцарской идиллии отодвигает у Карамзина на второй, третий план все связанные с этой страной идеологические построения. Само политическое обретает у него характер идиллического. “Прелестная натура”, “простота нравов”, счастье, мир, покой, дети, песня, сельский труд, приветливость — вот элементы, изначально легшие в основание данного сегмента швейцарского интерпретационного кода, который у Карамзина наметился, но не сформировался вполне»². Параллельно разрабаты-

URL:<http://sites.utoronto.ca/tsq/11/mednis11.shtml> (дата обращения: 04.07.2020); Степанян К. А. Юродство и безумие, смерть и воскресение, бытие и небытие в романе «Идиот» // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: Современное состояние изучения. М.: Наследие, 2001. С. 137–163.

¹ Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М.: Наука, 1983. С. 145.

² Меднис Н. Е. Швейцария в художественной системе Достоевского (к проблеме формирования в русской литературе швейцарского интерпретационного кода) // Toronto Slavic Quarterly. 2004. № 1(11).

вается романтическая интерпретация «швейцарского кода», заданная переводом «Шильонского узника», выполненным В. А. Жуковским. Впрочем, в дальнейшем Швейцария воспринимается как «перекресток европейских политических влияний», что в немалой степени связано с именем Герцена. Как видим, кодификации в основном связаны с текстами, выходящими за рамки литературы путешествий.

Теперь мы можем выйти за пределы общеизвестного. Толстой строит свой текст, начиная с описания русской и немецкой практичности, с облагораживающего влияния Швейцарии на всех гостей ее: «Я чувствовал, что все были настроены на один тон; это доказывали и ровные, мягкие походки, и нежно искательные звуки голосов, и слова тихой приязни, которые слышались со всех сторон. Удивительно спокойно гармоническое и христианское влияние здешней природы»; «Нигде, как в Швейцарии, не заметно так резко пагубное влияние мундира. Действительно, вся военная обстановка как будто выдумана для того, чтобы из разумного и доброго создания — человека — сделать бессмысленного злого зверя»¹.

Вся система национальных представлений может быть сведена к единой и достаточно простой схеме: «На верхнем конце сидел тот самый седой чистовыбритый англичанин, который бывает везде, потом еще несколько островитян мужского и женского пола, потом скромные, пытающиеся быть общительными немцы и развязные русские и молчаливые неизвестные. За столом служили румяные миловидные швейцарки, с длинными костявыми

URL:<http://sites.utoronto.ca/tsq/11/mednis11.shtml> (дата обращения: 04.07.2020).

¹ Толстой А.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М.: Худ. лит, 1928–1958. Т. 5. С. 208, 210.

руками, и m-me Votier, в черном чепце...»¹. В тексте можно отыскать немало примеров прямолинейно трактуемых национальных мотивировок²: «Может быть, это оттого, что я русской, но я люблю, просто люблю, глинистые, чуть засыхающие, еще мягкие желтые колеи дороги, особенно когда они в тени и на них есть следы копыт...»³

«Цивилизация исключает поэзию» — вот наиболее эффектный вывод Толстого; в Швейцарии, где цивилизация не вошла в полную силу, поэзия сохраняется. Однако же не стоит забывать и о других впечатлениях: «Я нигде не встречал такой уродливой идиотической старости рабочего класса, как в Швейцарии»⁴. Любопытно сравнить это уродство с описаниями «обыкновенного типа рабочих женщин», горничных, старух со свиньей и прочих персонажей. Подчас «цивилизованное» поведение или манера речи как раз свидетельствуют о низости и мелочности персонажа: «Говорил он по-французски с женевским акцентом, видимо, поддельваясь под французский. Мне казалось, что это женевский или водской bourgeois. Это безжизненная, притворная, нелепо подражающая французам, презирающая рабочий класс швейцарцев и отвратительно корыстно мелочная порода людей»⁵.

Можно ли согласиться с утверждением Н. Е. Меднис: «...этот вариант кодификации, руссоистский по сути, складывается в русской литературе вне текстуального влияния Руссо, ибо, как заметил в одном из швейцарских писем И. И. Козлову (от 27 января 1833) Жуковский,

¹ Там же. С. 196.

² Сорочан А. Ю. Мотивировка в русском историческом романе 1830–1840-х гг. Тверь: ТвГУ, 2002. С. 18–34.

³ Толстой А.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М.: Худ. лит., 1928–1958. Т 5. С. 197.

⁴ Там же. С. 204.

⁵ Там же. С. 211.

“Руссо не перенес здешних картин в свой роман (“Юлия, или Новая Элоиза” — Н. М.); он ничего верно не выразил; ничего, что видишь здесь глазами, не находишь в его книге”. Действительно, для Руссо была важна природа вообще, вне пейзажной конкретики и географических привязок»¹? У Толстого все не так, увиденное глазами воспринимается иначе, чем вычитанное в книгах, но воспринимается то же. Не случайно Л. Н. Толстой — чуть ли не единственный писатель, который не восторгается красотами швейцарской природы, хотя им уже воздали должное многие путешественники (Карамзин, Анненков и др.)

При этом в письмах (например, в письме тетушке от 11 апреля 1857) выражается иная позиция: «...невзирая на все удовольствия парижской жизни, на меня вдруг и без всякой причины напала необъяснимая тоска и <...> я решил теперь съездить на короткое время в Швейцарию, в Женеву. Я здесь три дня, но красота этого края и прелесть жизни в деревне, в окрестностях Женевы, так меня захватили, что я думаю пробыть здесь дольше <...> Мне очень хорошо, спокойно здесь, среди прекрасной природы и в одиночестве»; «...любуюсь природой, наблюдаю здешний свободный и милый народ и надеюсь, что все это мне долго не наскучит»².

А вот письмо от 1 мая Толстой не отправил: «Природа больше всего дает это высшее наслаждение жизни, забвение своей несносной персоны. Не

¹ Меднис Н. Е. Швейцария в художественной системе Достоевского (к проблеме формирования в русской литературе швейцарского интерпретационного кода) // Toronto Slavic Quarterly. 2004. № 1(11). URL:<http://sites.utoronto.ca/tsq/11/mednis11.shtml> (дата обращения: 04.07.2020).

² Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М.: Худ. лит, 1928–1958. Т. 60. С. 175, 178.

слышишь, как живешь, нет ни прошедшего, ни будущего, только одно настоящее, как клубок плавно разматывается и исчезает»¹.

Но несмотря на все восторги, в «Отрывке» Толстого Швейцария — страна не крестьян, а салонов и гостиниц, и «любование» этой страной без «наблюдения» невозможно. А просвещение совершается именно в этих салонах, хотя затрагивает и народные массы. От интереса к просвещению один шаг до утверждения: «...любителям антиков, к которым и я принадлежу никто не мешает читать серьезно стихи и повести и серьезно толковать о них. Другое теперь нужно. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немножко того, что мы знаем»². Учить нужно крестьян, а не учиться у них — вот тогда и начнется истинное просвещение.

Мы можем отметить близость многих эпизодов толстовского путешествия к путевым заметкам первой половины XIX в. Специфика изображения Швейцарии (с учетом уже сложившейся к 50-м гг. традиции) позволяет описать и идеологический фон толстовского текста; и понять, как реальные впечатления и традиционный швейцарский код преломляются в «Отрывке».

Как пишет Дерек Оффорд, расцвет европейских травелогов связан с «вестернизацией русской социальной элиты и дальнейшим созданием вестернизированной интеллектуальной и культурной элиты (которая получила наименование «интеллигенция»), когда эти изменения вынудили русских задуматься об их собственной идентичности»³; эле-

¹ Там же. С. 178.

² Там же. С. 324.

³ *Offord D. Journeys to a Graveyard: Perceptions of Europe in Classical Russian Travel Writing. International Archives of the History of Ideas, no. 192. Dordrecht: Springer Verlag, 2005. С. xxiv.*

мент вестернизации в тексте Толстого будет не вполне ясен, если мы не рассмотрим непосредственно предшествующие ему сочинения русских о Швейцарии.

Карамзинский текст, думается, нет нужды здесь характеризовать — а вот на другом путешествии, «Записках русского путешественника» Андрея Гавриловича Глаголева, стоит остановиться чуть подробнее. «Если не любовь к отечеству, по крайней мере тоска по родине остается еще одним из главных качеств швейцарцев. Я разделяю эти два чувства потому, что первой из них почитаю принадлежностью одних душ благородных и возвышенных, а последнее следствием только привязанности к месту рождения»¹. Как видим, никакое воздействие красот природы не гарантирует благородства души, идеал «естественного человека» подвергается сомнению, причем происходит это в тексте Глаголева весьма любопытно.

«Гувернерский» тон доктора Ж. скорее отпугивает от Швейцарии повествователя: «Если верить нашему панегиристу, эта сторона есть другой земной рай. Первенцем его был Вильгельм Телль, который не только не падал, но и никогда не спотыкался. Потомки его все без исключения праведники. Век их золотой, жизнь патриархальная, нравы пастушеские. Особенно отличаются они приветливостью, простосердечием, откровенностью. Права их — безусловное равенство и совершенное братство. Красноречивый панегирист, хваля таким образом свою отчизну, не пропускал случая унижать и бранить все прочие нации»².

Впечатления Глаголева скорее негативного свойства — и они касаются состояния людей, а не

¹ Глаголев А. Г. Записки русского путешественника, с 1823 по 1827 год: в 4 т. СПб.: Тип. императорской Российской Академии, 1837. Т. 2. С. 54.

² Там же. С. 56.

природы. Именно Фрайбургский кантон дает Глаголеву наиболее важный материал по вопросу народного образования: «...устранить жителей кантона от влияния образованных соседей и в особенности от сообщества просвещенных иностранцев, посещающих Швейцарию»¹. Подробные рассуждения об отсутствии школ и собственных ученых должны подкрепить эту точку зрения. Столкновение французского и немецкого языков, сохранение в неприкосновенности многовековых традиций — то о чем подробно пишет Глаголев и что повторяется в тексте Толстого. Используется один и тот же прием национальной характерологии — англичанин, немец и француз посещают кантон и встречаются за одним столом. Политические рассуждения ведут к весьма серьезным выводам: «...они готовы свергнуть власть купцов и облобызывать ярмо иезуитов. Вот достойные плоды того буйного и неограниченного своеволия, которое, под именем свободы, столько превозносят фанатики политические!»² Очень часты у Глаголева комплиментарные ссылки на Вольтера — с цитатами и рассуждениями. И основу повествования составляют описания гостиниц и пансионеров — пейзажные зарисовки оказываются лишь связующими звеньями, как бы заполняют паузы между остановками в пути. Прелесть швейцарской природы, как пишет Глаголев, сильно преувеличена. И школы, пансионеры и «воспитательные учреждения» ничуть не менее интересны и занимательны, нежели водопады и озера.

Спокойствие и «разум» преобладают в швейцарских главах «Писем из-за границы» (1843) П. В. Анненкова: «Швейцария находится в сию минуту в каком-то судорожном состоянии... Я уже вижу отсюда, как вы испугались, какой ужас объял вас... Успокойтесь! Не можете себе представить,

¹ Там же. С. 125.

² Там же. С. 128.

как находящиеся в судорожном состоянии швейцарцы славно едят здесь, как набиты ими все кафехаузы¹, какая музыка на озере, прогулки по восхитительным берегам его, пикеты и экарте во всех публичных залах»². «Вольтер, Байрон и г-жа Сталь! Даже вискам больно от соединения этих имен! Впечатления на месте их жилищ весьма различны, столь же различны, как спокойная, холодная насмешка, позволяющая человеку наслаждаться всеми благами земли до глубокой старости, и кровная борьба с обществом, которой все принесено в жертву, или как различен от вышеупомянутого шум, поднятый ради оскорбленного тщеславица»³.

Это своего рода подготовка к изображению Парижа с его бурями и литературными и политическими баталиями. Изображается одно, чтобы приблизить к пониманию другого.

Вполне логично обратиться к сопоставлению «Отрывка...» с путевыми заметками Н. И. Греча, ставшими своего рода эталоном «европейских» путешествий в русской литературе того времени⁴.
<...>

Упоминаний о Грече нет в переписке Толстого — однако номера «Северной Пчелы» не могли не попадать ему в руки; а именно в «Северной Пчеле» печатались все путешествия Греча, позднее вышедшие отдельными изданиями; и образ Швейцарии как мира «гостиниц, салонов и пансионеров» — несомненно, связан с определяющей традицией.

¹ Кафехауз (от нем. Kaffeekhaus) – кафе.

² Анненков П. В. Парижские письма. Л.: Наука, 1983. С. 38.

³ Там же. С. 39.

⁴ Sorochan A. La diplomatie littéraire dans les Lettres de voyage de Nikolai Gretch // Les Intellectuels russes: À la conquête de l'opinion publique française. Paris: Press Sorbonne Nouvelle, 2019. P. 129–136. Русский текст статьи публикуется в настоящем сборнике.

Изображение Швейцарии рядом с Францией (бунтующей) и Германией (благополучной) дает возможность ввести в травелоги важные для европейского Просвещения образы и сюжеты; Толстой пользуется этой возможностью. Здесь совсем не обязательно знакомство с конкретными текстами, хотя некоторые совпадения очень эффектны, скорее важно общее развитие русского травелога в первой половине XIX столетия — и незавершенный текст Толстого представляет собой закономерное следствие этого развития.

Сложно выстраивать прямые линии, которые связывали бы конкретные литературные имена; для полной реконструкции потребовалось бы привлечь еще полсотни текстов. Остается лишь пунктирно обозначить несколько вопросов.

Для Толстого исключительно актуально соотношение здоровья физического и духовного; но в его швейцарских дневниках мы находим сплошные жалобы на болезни, текст же «Отрывка» — апогей духовного здоровья. Вполне вероятно, что на автора путевых заметок повлияли многочисленные статьи на медицинские темы, связанные со Швейцарией; об этих публикациях «Отечественных записок» и «Библиотеки для чтения» мы уже писали в других работах¹.

Можно было бы вслед за комментаторами «Писем русского путешественника» порассуждать о политических аспектах «подмены», когда вместо революционной Франции изображается «тихая» Швейцария.

Но все это уводит в сторону от проблемы эволюции литературы путешествий и от трансформаций в этой литературе сюжетов, свойственных эпохе

¹ Сорочан А. Ю. Французы в «Библиотеке»: «руссоизм» в русской журнальной словесности 1840–1850-х годов // Яснополянский сборник. XIV (1). Ясная Поляна, 2014. С. 309–318.

Просвещения. Для краткости можно сказать так: постепенное узнавание другого ведет к ассоциированию с ним, потом совершается попытка отделить себя от иного, позднее, по прошествии времени, если такая возможность сохраняется, иное становится камертоном, которым поверяются все новые и новые события и явления¹. Но любая прямая линия, соединяющая несколько точек, неизбежно минует другие. И вы с легкостью сможете предложить иные варианты развития, которые в свою очередь подлежат корректировке.

Восторженное приятие совершенной природы у Карамзина (узнавание Швейцарии) ведет к сомнению в изначальном идеале. Совершенств природы мало для совершенства человека, нужно еще образование (здесь очевидно «разделение»). Данная позиция, выраженная Глаголевым, существенно корректируется в текстах Греча; нужно не просто просветить людей, но учесть национальные традиции и сформировать систему представлений, для чего потребно общественное обсуждение; швейцарские впечатления как раз и становятся средством проверки новых убеждений, чужое служит для постижения своего... А потом приходит черед Толстого.

Путешествие по Швейцарии дает Толстому материал для новой трактовки того, что можно назвать «просвещением», для новых вариаций на темы и Руссо, и Карамзина, и Глаголева, и Греча; впечатления от природы и от гостиниц и салонов сплетаются, обеспечивая представление уже не о естественном человеке, а о его развитии. Отсюда один шаг до следующего размышления, сохранившегося в письме В. П. Боткину от 27 июня 1857: «Одно есть — всемирный дух, проникающий в ка-

¹ Сорочан А. Ю. Туда и обратно: Новые исследования литературы путешествий и методология гуманитарной науки // Новое литературное обозрение. 2011. № 112. С. 400–402.

ждого из нас, как отдельную единицу, влагающий каждому бессознательное стремление к добру и от-
вращение к злу <...> вот только слушай этот голос
чувств[а], совести инстинкта, ума, назовите его
как хотите, только этот голос не ошибается»¹. Но
чтобы совершить этот решительный шаг, нужно
проделать путь до Люцерна и «Люцерна»; а июнь
еще не закончился, Толстой еще не уехал из Клара-
на... Дальше — не столько продолжение путеше-
ствия, сколько начало нового, ведущего к новым от-
крытиям и связанного с другими именами и кни-
гами.

¹ Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М.:
Худ. лит, 1928–1958. Т. 60. С. 214.

«Русская География» А. А. Фета: немного геополитики

Начну с общеизвестного. Стихотворения с обозначенным выше названием у Фета нет. Есть оно у другого поэта — и всем прекрасно знакомы и поэт, и стихотворение: «Москва, и град Петров, и Константинов град — Вот царства Русского заветные столицы...Но где предел его? И где его границы — На север, на восток, на юг и на закат? Грядущим временам судьбы их обличат...»

Геополитические воззрения Тютчева прекрасно известны, они многократно анализировались в научной литературе и на материале поэтических произведений, и на материале публицистики и писем¹. Теперь, когда наследие Фета входит в научный оборот в полном объеме, появилась возможность проанализировать и его общественно-политические убеждения, вписать его творчество в контекст социальной жизни. И возникают с тютчевскими географическими прозрениями любопытные параллели.

Однако мне не хотелось бы еще раз занимать аудиторию рассуждениями на тему «Тютчев и Фет»². В этом сообщении я попытаюсь очертить общие контуры фетовской политической географии, как она запечатлелась в стихах и только в них. Ведь в противном случае следует обращаться и к статьям и трактатам Фета, сопоставляя их с

¹ Итог исследований подведен в комментариях к полному собранию сочинений Ф. И. Тютчева в 6 т.

² Впрочем, чаще всего рассуждения на эту тему строятся вокруг «вечного», а не «сиюминутного»; основой сопоставления становится некая поэтическая «магистраль». См., напр., одну из последних работ: Успенская А. В. Античность в поэзии Тютчева и Фета // Афанасий Фет и русская литература. Курск, 2006. С. 30-40.

текстами Тютчева и других авторов, обращаться к данным географической науки середины XIX столетия, анализировать всю систему географических координат. Это необходимо, но для одного сообщения многовато. Потому будем надеяться на светлое будущее...

Исследователи неоднократно пытались отыскать в итальянских стихотворениях Фета отголоски славянофильских построений. Бесспорно, образы «загнивающего Запада» явлены и в «Даках», и в «Римском празднике», во многих стихотворениях из цикла «Италия». Нуждается в уточнении мнение о том, что данное «литературно-идеологическое влияние» проявилось только в стихах, относящихся к заграничному путешествию 1856 г. Задолго до этого у Фета появляются стихи, посвященные Москве — центру мира, древнему городу, воплощающему все вечные первоначала. Можно отнести это настроение в стихах 1840-х гг. к юношеской увлеченности, свести «москвоцентризм» Фета к биографическим фактам — но так ли уж это необходимо?

...Как новый, ранний снег
Всегда и чист, и свеж! Царица тайных нег,
Луна зеркальная над древнею Москвою
Одну выводит ночь блестящей за другою,
Что, все ли улеглись, уснули? Не пора ль?...
...Далекие, как бы в вознагражденье,
Шлют звезды в инее свое изображенье.
В сияньи полночи безмолвен сон Кремля
(«Эх, шутка-молодость!...», <1847>)¹.

Да, перед нами город, погруженный в сон, город-богатырь, до поры таящий свое могущество (кстати, именно в этом тексте впервые появляется

¹ Фет А. А. Стихотворения, поэмы, переводы. М.: Правда, 1985. С. 29. Далее стихотворения Фета цитируются по этому изданию с указанием страниц в скобках.

устойчивый фетовский образ — город в сиянии звезд; позднее чаще всего эти звезды — Млечный Путь).

Фет с точки зрения геополитической — стопроцентный централист; по мере удаления от центра предметы утрачивают значения. Регионы явственно проигрывают центру, периферийным зрением различаются отдельные красоты, но взор направлен напрямиком на столицу. В этом смысле любопытно стихотворение «Ивы и березы» (1843, 1856), позволяющее нам осуществить переход от первого этапа фетовской геополитики ко второму.

Березы севера мне милы, —
Их грустный опущенный вид,
Как речь безмолвная могилы,
Горячку сердца холодит.
Но ива, длинными листьями
Упав на лоно ясных вод,
Дружней с мучительными снами
И дольше в памяти живет (235).

Березы шепчутся «лишь с ветром севера одним», но — «всю землю, грустно-сиротлива, считая родной скорбей, Плакучая склоняет ива Везде концы своих ветвей». Обратим внимание, как контрастен подбор эпитетов в первых четверостишиях. Фет запечатлевает ограниченность в пространстве берез и протяженность ив. Деревья окраин милы, грустны, безмолвны, устремлены вниз, дерево центра — с длинными листьями, отраженное в ясной воде, долго живущее, пусть и в памяти. Бесспорно, береза важна как символ России, но оно при всей своей красоте уступает могуществу и силе, воплощенным в другом дереве.

Фет сохраняет верность централистским представлениям, выраженную в апологетике центра России, и в дальнейшем; недаром в 1856 году он перерабатывает «Ивы и березы», подчеркивая контрастную композицию стихотворения. Но вместе с

тем в стихах 1856-1859 гг. появляется и иное представление о русской географии. На смену безграничному пространству с центром — Москвой — приходит и иная геополитическая структура: Россия, увенчанная «градом Петровым». В «Ответе Тургеневу» эта картина обретает завершенность: «Поэт! ты хочешь знать, за что такой любовью / Мы любим родину с тобой?» (188). Петербург становится истинным центром, распростертым в пространстве: «Столица севера спала, / Под обаяньем сна горда и неизменна, / И над громадой ночь, бодрa и вдохновенна, / Как ясновидящая шла» (188). Перед нами предстает не просто столица России, но политический центр мира; в данном случае недооценивать политическую заостренность фетовского текста не следует: 1856 год — а на Россию по-прежнему устремлены взоры всего мира, здесь по-прежнему вершится мировая политика. И пусть Фет не высказывает этого явно, но подразумевает, призывая Тургенева на родину и рисуя пафосные картины: «Чи корабли вдали на рейде отдыхали, — / А воды не струясь, под ними отражали / Всё флаги пестрые в Неве» (188). Занятно, что в стихотворении 1858 года «Тургеневу» Фет повторяет призыв, адресованный «любовнику юга», и в качестве воплощения России избирается северный край, край берез: «Но вечно радужные грезы / Тебя несут под сень березы, / К ручьям земли твоей родной» (190). Москва утрачивает активную, деятельную сущность в стихах Фета, богатырство ее сменяется покоем, блаженством. Это город, в котором «легко и самое страданье» («Был чудный майский день в Москве», <1857> — 239); а судьба России вершится в Петербурге, единственной столице, с которой следует считаться. Теперь уже не положение в пространстве, а реальная политическая роль становится определяющим фактором в политической географии поэзии Фета.

В последующих текстах Фета нет точных геополитических указаний. Место действия текстов условно-локализовано; сопоставление текстов Фета со среднерусской усадебной поэзией, предпринятое В. А. Кошелевым¹, явственно указывает на то ограниченное географическое пространство, в которое вписаны стихи Фета. Однако в стихах последних лет вновь возникает геополитическая обрзанность. Прежде всего любопытно поговорить собственно о Тютчеве. Всем известно о преклонении Фета перед поэзией Тютчева, известно и о некоторой неоднозначности оценки тютчевского дарования. В известном смысле «Русская География» может послужить катализатором. Вернусь еще раз к этому тексту:

Семь внутренних морей и семь великих рек...
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство Русское...и не прейдет вовек,
Как то провидел дух и Даниил предрек.

Как видим, идея с мытьем сапог в Индийском океане не вчера появилась. Но разговор не о ней. Вспомним теперь фетовское рассуждение о «патенте на благородство», написанное «На книжке стихотворений Тютчева» в декабре 1883 года:

В сыртах не встретишь Геликона,
На льдинах лавр не расцветет,
У чукчей нет Анакреона,
К зырянам Тютчев не придет (208).

Если обратиться к энциклопедическим справочникам конца XIX столетия, то узнаем, что «сырты» — ландшафт юго-восточный, что чукчи относятся

¹ Кошелев В. А. Лирика Фета и «усадебная поэзия» (К постановке проблемы) // А.А. Фет. Проблемы изучения жизни и творчества. Курск, 1994.

к северо-восточной группе народностей, а зыряне, напротив, к северо-западной. Фет не замыкает круг — в том нет нужды; поэт не придерживается строгой схемы. Но беспредельность «русской географии» ставится под сомнение; создание «царства Русского» приведет к исчезновению поэтического языка и гибели национального самосознания. Фет именно в этом направлении корректирует «Русскую Географию», представленную в стихах Тютчева. Идеология Фета — это возврат к централизму, к известной замкнутости, это идеология не профессионального политика, а профессионального хозяйственника, если уместна такая вольная аналогия. Недаром еще в 1866 году, в стихотворении «Тютчеву», Фет изображает не столичный, а среднерусский сельский пейзаж, в котором обретаются и труженик, и певец, в котором они находят свое призвание и в полной мере могут выразить себя:

Прошла весна — темнеет лес,
Скудней ручьи, грустнее ивы,
И солнце с высоты небес
Томит безветренные нивы (207).

Как видим, край берез снова уступает место краю «грустно-сиротливых», вездесущих ив.

География Тютчева открыта вовне, она экстенсивна, в этом внешняя сила государственного человека и его слабость. Неся власть, он не в силах нести культуру. И несмотря на все геополитические усилия, «на льдинах лавр не расцветет».

Фет мыслит иначе, его география — интенсивна; основу его геополитики составляет требование полной разработки имеющегося пространства, поиск ресурсов в центре, в ближайшем окружении. Иногда центр смещается к северу (Петербург), иногда к югу (в некоторых итальянских стихотворениях), однако эти подвижки подобны движениям ма-

ятника. Возвращение в центр необходимо, оно запрограммировано самими основами геополитики, которая формируется в сознании поэта, соотносящего жизнь с земледельческими законами: ведь о превосходстве интенсивного земледелия в очередной раз заговорили как раз тогда, в конце XIX века.

Может быть, последним манифестом Фета, имевшим отношение к географическим представлениям эпохи, было стихотворение 1891 года:

За горами, песками, морями –
Вечный край благовонных цветов,
Где, овеяны яркими снами,
Дремлют розы, не зная снегов.
...И палящего солнца лобзанье
Призывает не петь, а дышать.
...И сюда я, где сумрак короче,
Где заря любит зорю будить,
В холодок вашей северной ночи
Прилетаю и петь, и любить (86).

Север в данном случае — все, что находится здесь, что не отделено морями, песками и горами. «Вечные края» остаются «там», далеко, «здесь» — все, что не отделено естественными границами, все, что составляет сущность России, все, что нужно поэту и его читателям. Похоже, география у Фета не политическая, а хозяйственная; может, в ней отчасти и причина необычной загадочности его, на первый взгляд, сугубо художнических, отвлеченных стихов?

Освоение иного пространства:

Египет в прозе Д. Л. Мордовцева

К началу 1890-х годов сочинения Даниила Лукича Мордовцева уже приобрели широкую известность. Правда, это относилось прежде всего к романам, посвященным истории русского раскола и судьбе Украины. Но на рубеже нового десятилетия романист обращается к новым темам — прежде всего расширяется география его творчества. История этой трансформации нетипична для русской литературы XIX века. Тем интереснее проанализировать, как романист, привычный к освоению иных времен, обратился к изображению иного пространства.

Путевые очерки и короткие рассказы из истории Древнего Востока становятся основой для серии романов Мордовцева, по-разному воспринятых читателями. Уже отмечалось, что мода на Древний Египет в России появилась с переводами романов Георга Эберса¹. Однако переводы эти появились задолго до Мордовцева. Отметим, что «Дочь египетского царя» Эберса начала публиковаться в «Отечественных записках» в 1869 году; на соседних страницах находилась статья Мордовцева «Кто был усмирителем пугачевщины?»² Писатель не просто следовал литературной моде; скорее, он ее трансформировал в соответствии с собственными задачами. Романы и рассказы Мордовцева были немаловажным источником для усвоения рус-

¹ Ранчин А.М. Писатель-историк // Мордовцев Д.Л. Замурованная царица. М., 1991. С. 365.

² Отечественные записки. 1869. № 12.

ской публикой египетской и ближневосточной тематики¹.

Путевые очерки составляют значительную часть наследия писателя. Однако нас они интересуют лишь в связи с романами; исторические сюжеты претерпевают значительную трансформацию: в очерках определяются интересы автора, в рассказах запечатлеваются отдельные, наиболее яркие картины, в романах новые темы получают целостное освещение. К примеру, уже в «рассказах туриста», посвященных странствиям по Иудее и Египту, ясно выражается «литературность» восприятия. Без литературных реминисценций не создается целостное представление о мире, в котором происходит действие, хотя мир этот, казалось бы, перенасыщен свидетельствами исторического прошлого. Нет, одной истории уже недостаточно. Описание путешествия в Египет и Палестину, к примеру, строится так: «... очарованный и смущенный, на вершине пирамиды Хеопса, я смотрел на восход солнца за Нилом, а в душе моей, словно чарующая музыка, звучал глубоко поэтический стих: *Серой гремучей змею, Бесконечные кольца влача через ил, В тропиках густолиственных тянется Нил* <...> В уме моем вставали волшебные картины египетских ночей — не «Египетских ночей» Пушкина, а подлинных ночей Египта и Африки...»². Цитаты из Пушкина и Байрона становятся важнее пассажей из сочинений других путешественников.

¹ Об актуальности египетских аллюзий в русской литературе конца XIX в. см.: Сорочан А. Ю. Чехов и тайны Египта // «Звук лопнувшей струны». Перечитывая «Вишневый сад» А. П. Чехова. Симферополь: Доля, 2006. С. 119-125.

² Мордовцев Д.А. Собрание сочинений: В 14 т. М.: Терра, 1996. Т. 13. С. 515-516. Далее цитаты из этого издания приводятся с указанием года, номера тома и страниц в тексте.

Художественная фантазия дает куда больше для понимания прошлого, чем обычное наблюдение и строгая, сухая фактография. Детские впечатления от библейских описаний, сострадание к изгнанным в пустыню определяют пафос всех египетских и иудейских очерков. Но на эти впечатления наслаиваются позднейшие — впрочем, относящиеся к числу общеизвестных. Недаром одна из спутниц героя очерков — молодая еврейка Сара — похваляется своей памятью, позволяющей ей цитировать и Норова с Муравьевым, и Пушкина с Фетом. Она «на все смотрит глазами поэта». И автор всецело разделяет эту позицию: «Она была прелестна в своем молодом, чистом увлечении, и я нашел, что она была права, что в ней сказалось чутье художника, поэта...» (1996, 13, 526). Литературные ассоциации помогают воссоздать «истинный» облик древней земли. И автор определяет этот метод работы с новым историческим материалом, сразу намекая читателям, что очерками дело не ограничится: «Воображение переносится в глубь веков и тысячелетий и создает картины и образы, которые получают цену реального бытия, чего-то давно знакомого, виденного, чего-то такого, в чем принимали непосредственное участие ваша мысль, ваше сердце» (1996, 13, 539).

В путешествиях по далеким странам Мордовцев обнаруживает исторические архетипы, легко соотносимые с читательским опытом аудитории. Иначе говоря, древняя история все чаще соотносится с классической и новейшей литературой и интерпретируется в соответствии с заданными схемами. Этим задается своеобразная «сетка восприятия», которая накладывается на все «экзотические» события, попадающие в поле зрения писателя в позднейших литературных произведениях на древние темы.

Между путевыми очерками и художественными произведениями промежуточное место занимает

повесть «Нильский крокодил» — бытовое, сниженное переложение коллизий приключенческой повести «Наш Одиссей». Герой повествует о пережитом в юности путешествии по Египту; при этом он то и дело пытается уйти от темы своих любовных переживаний: «Любовь — тайна: она не напоказ. Я бы и романистам не советовал об этом писать»¹. Автор следует совету героя — и обрывает его «роман» в самый драматический момент, а остальное пересказывает в одном абзаце. Зато впечатления героя от величественных пейзажей ушедшей в прошлое цивилизации переданы весьма обстоятельно. Определенный архаический колорит придают повести и постоянные отсылки к сюжету об Ифигении. Литературные параллели в прозе Мордовцева становятся основой текста, «классическим» ключом к беллетристическому произведению, где бы ни развивалось его действие. Но собственно сюжет, хоть и развивается на историческом египетском фоне, не особенно занимателен. А основным источником исторических сведений являются, в свою очередь, путевые записки А. С. Норова, широко известные и в конце XIX в. Повесть представляет интерес лишь как этап в переработке путевых очерков и включению их в художественные тексты². Этап был пройден и привел к реали-

¹ Мордовцев Д. Л. Полное собрание исторических романов, повестей и рассказов. Пг., <1914>. Т. 4 (кн. 3). С. 126. Далее цитаты из этого издания приводятся с указанием года, номера тома и страниц в тексте.

² Из описаний египетских памятников в повести привлекает внимание раздел, посвященный колосу Мемнона. Здесь цитируется описание, данное Павсанием: «Остальная половина <колосса> издает всякий день при солнечном восходе звук, который походит на звук лирной струны, внезапно оборвавшейся» (1914, 4 (кн. 3), 109). Ср.: Сорочан А.Ю. Чехов и «тайны Египта»... С. 121.

зации обретенного в «колыбели человечества» опыта в художественной форме.

Цикл рассказов «Говор камней» создавался на протяжении 1880-х годов. Все 14 произведений строятся одинаково: описывая свои наблюдения и впечатления от египетских древностей, автор пытается представить читателям наиболее яркие сюжеты из древней истории. Отталкиваясь от одной фразы в папирусе, от одной археологической находки, от одного музейного экспоната, Мордовцев вновь и вновь предлагает читателям романтические истории о смерти дочери фараона, о любви жреца к принцессе, об отказе юных наследниц от веры предков... Простота рассказов обманчива; практически во всех случаях автор рассчитывает на определенную начитанность своей публики. Читателям предлагается соотносить древнеегипетские сюжеты с различными сюжетами древней и новой литературы. Например, рассказ «Жрец-сатирик» начинается прямо с литературной аналогии: «Наш бессмертный сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин¹ ввел в нашу историю бессмертные типы «господ ташкентцев» <...> И в истории Египта были свои «ташкентцы». Был в Египте и сатирик, который вывел их на свет Божий, пригвоздив к плитам говорящих камней или к свиткам папирусов» (1996, 13, 408). И далее рассматривается древнеегипетский текст, недавно расшифрованный учеными. Во многих местах Мордовцев реконструирует сюжет, руководствуясь не лингвистическими исследованиями, а фантазией. В этих случаях он особенно часто призывает читателей соотносить древние манускрипты с сочинениями нового вре-

¹ Заметим, что подобное именование, соединение имени автора и имени персонажа, допускает современник сатирика, к тому же лично знавший М. Е. Салтыкова. В «квазиисторической» прозе Мордовцева автор и герой закономерно уравниваются.

мени. Так появляется произведение «Древнейший в мире роман». В этом произведении, реконструируя сюжет, изложенный на знаменитом папирусе д'Орбиньи, русский писатель называет его «первоисточником истории об Иосифе и жене сановника Потифара, или, по-библейски, Пентефрия» (1996, 13, 376). В других случаях, когда сюжеты кажутся более сенсационными, Мордовцев излагает их в соответствующем стиле, имитируя газетные и журнальные отчеты о чудесах медицины или спиритизма. Так появляются «Жрец-гипнотизер» и «Египетский Шарко». Исторические аналогии тоже подаются с оглядкой на литературную традицию. Например, герои рассказа «Женщина-фараон» постоянно сравниваются с царевной Софьей и Петром Великим. Но эти исторические личности уже многократно становились литературными персонажами; сам Мордовцев за несколько лет до сочинения рассказа создал роман «Царь Петр и правительница Софья». И пишет он о фараонах Древнего Египта, соотнося их жизни с литературной традицией изображения сходных коллизий в русской истории.

Иногда упоминания о литературных персонажах не мотивируются сюжетно, но призваны актуализировать читательскую память, может быть, подчеркнуть не вполне серьезное отношение автора к фантастическим событиям прошлого. Описывая загадочные предметы, обнаруженные в захоронении царицы Аахотеп, Мордовцев задается риторическим вопросом: «Не разгадал ли бы этой загадки покойный Козьма Прутков на своем пробирном камне?» (1996, 13, 399). Ясно, что Козьма Прутков тут не особенно важен, важно как-нибудь соотнести сюжет с современной литературой.

Если это не удастся, в ход идут классики. Цитируя пассажи из Страбона, Геродота, Плиния, писатель не забывает и об отечественной литературе — о Норове и Пушкине, фрагменты из произведений

которых призваны подчеркнуть очарование египетской древности. Иную функцию исполняют цитаты и пересказы научных трудов; Мордовцев выбирает те исследования, в которых египетские тексты рассматриваются в качестве литературных памятников, а не исторических документов. Посему предпочтение отдается более «поэтичным» Шампольону, Бругш-бею и «их продолжателю Г. К. Властову¹» (1996, 13, 346). Характеризуется литературный стиль и «документальных», и «художественных» произведений. И если над первыми (молитвами Апису, прославлениями фараонов) Мордовцев иронизирует, то вторые он преподносит читателям с определенным пиететом. Это неудивительно: сам писатель видит в них источники сюжетов и образов новой литературы и призывает читателей поступить так же. Но совершенно очевидно, что рассказы рассматривались самим Мордовцевым только как первоначальные наброски истории Египта «во всем его величии и великолепии» (1996, 13, 340). И попытки выразить это великолепие древности в формах новой литературы, представив сохранившиеся памятники как литературные произведения, имеющие немало общего с теми, которые уже знакомы читателю, продолжались в дальнейшем.

«Замурованная царица» (1891) в наибольшей степени связана с тематикой рассмотренных рассказов. Основу романа составляют описания важнейших религиозных обрядов египтян и цитаты из дошедших до нас письменных источников. Писатель ссылается на сочинения Шампольона и Мариет-бея, критикует переводы «Туринского папи-

¹ Властов Г. К. — ученый-дилетант, автор ряда книг, содержащих истолкование библейских текстов, переводчик античных авторов.

руса», сделанные разными исследователями¹. И тем не менее доверие к письменному слову гораздо выше доверия к обряду.

Начинается роман с описания важнейшего события — «венчания фараона на царство». Эти сцены часто повторяются у Мордовцева, чаще всего подчеркивается несоответствие внешнего величия и внутренней пустоты действия. Вот появляется «всемогущий Апис»: «Добродушная морда животного, кроткие, огромные, несколько выпученные глаза, бессмысленно глядевшие на процессию — все это как-то не вязалось с понятием о грозном и всемогущем божестве. Но такова сила человеческой глупости: все <...> верили, что это — бог, Апис-Озирис» (6). Найденный однажды взгляд на обряд «с точки зрения быка» будет позднее неоднократно воспроизводиться: «Апис все ждет, следя своими добрыми, изумленными глазами за полетом птиц... Зачем они это делают? А затем, чтобы потом дать ему вон те удивительные колосья...» (8). Созданию эффекта остранения в данном случае способствует еще и временная дистанция между событием и повествователем. В последующих сценах сакральные действия созерцает ребенок — «священная девочка» Хену, и посему жертвоприношение Нилу и изготовление «священных фигурок» в храме лишаются ореола таинственности.

Египтяне верят в незыблемость своего миропорядка; герои неоднократно заявляют об этом, автор постоянно корректирует их мнения: «...пройдут тысячелетия и весь мир растащит, безбожно разграбит <...> священные реликвии удивительной страны, немых свидетелей его гордой, померкшей славы <...> И уцелеют одни пирамиды, да и то па-

¹ Мордовцев Д. А. Замурованная царица; Идеалисты и реалисты. М., 1993. С. 130-134. Далее цитаты из этого издания приводятся с указанием номера страницы в тексте.

мятники не египетского народа, не его гения» (36-37). Власть, государство, история — все это преходяще; царства безжалостны к людям, но и сами царства исчезают. Эфемерность «документальной» истории как никогда очевидна при обращении к давно минувшим временам. Может быть, именно в этом и кроется причина интереса Мордовцева к исчезнувшим империям? Ведь эти романы, основанные как будто на документах и исследованиях, с наибольшей силой демонстрируют несостоятельность научной реконструкции.

А как же быть с воспроизводимыми текстами египетских папирусов? Для автора почти все они принадлежат не истории, а литературе. Вот огромная эпитафия египтянина Аамеса: «Это целый некролог, и некролог хвастливый, от своего лица. А разве “памятник себе воздвиг нерукотворный” — не то же ли самое?» (54). Такой же подход демонстрируется в описании казней египетских, когда автор, как бы заслоняя от читателей жестокость наказаний, анализирует метафоры, используемые неведомым писцом. Художественное преобразование исторического «мгновения» — остается. В этом причина особого внимания, которое уделяется Мордовцевым сюжету, лишь косвенно связанному с заговором Тии и Пентаура против Рамзеса. С появлением «тroyанского пленника» Адиромы романист соотносит египетские древности с событиями гораздо более известными и современными описываемому заговору — осадой и падением Трои, бегством Энея и т.д. Помимо Адиромы, к пространству гомеровского сюжета принадлежит, конечно, Лаодика. Мордовцев предлагает свою версию судьбы младшей дочери Приама, ставшей рабыней в Египте, сбежавшей от хозяина и погибшей во дворце фараона от рук ревливой прислужницы. Но главное не в сюжете. На страницах романа появляются знакомые мифы, имена героев, даже «гомеровские» фрагменты (описание дворца Приама).

Рядом с Лаодикой Пентаур развивает план покорения Греции, воспроизводя в основных чертах гомеровскую географию. А в сознании героини то и дело возникают сцены прошлого, куда более яркие для Лаодики, чем собственно египетские события. Она постоянно вспоминает своего возлюбленного Энея и странствует с ним вместе; здесь автор воспроизводит фрагменты сюжета Вергилия. Поэзия оказывается сильнее истории; и человек, лишенный государством даже призрака свободы, обретает в поэтическом тексте надежду на вечность. Жестокая и несправедливая история замещается мало-помалу у Мордовцев литературной «квазиисторией».

Тому красноречивое подтверждение — эпилог романа. Здесь в египетском музее автор видит мумию Лаодики: «И это Лаодика, “миловиднейшая дочь Приама и Гекубы”, как называл ее Гомер, — это сестра Гектора, Париса, Кассандры!... В каком-то благоговении я думал: “Что мне Гекуба и что я Гекубе”, но меня душили невыплаканные слезы, и я был готов разрыдаться» (136)¹. Слезы здесь — о смерти человека исторического, благоговение относится к поэтическому образу, куда более важному. Литературный памятник — единственный, который способен преодолеть низменное притяжение истории, и это Мордовцев доказывает снова и снова.

Автор не без иронии относится к собственному видению древности. К примеру, рассказ «Богиня Изида-сваха»² открывается своеобразными сетованиями: «Изучение и изображение современной

¹ Отметим, что крылатая фраза уже становилась однажды заглавием статьи Мордовцева: Что нам Гекуба... // Отечественные записки. 1881. № 2.

² Отдельные исследователи именуют его романом. См.: Лебедев Ю.В. Д.А. Мордовцев // Мордовцев Д. А. Сочинения: В 2 т. М., 1992. Т. 1. С. 13.

жизни, к сожалению, не всякому доступно» (1914, 8 (кн. 2), 223). Смысл видится теперь в изображении не сиюминутного, а вечного: «Люди и за 6000 лет любили так же, как любят и теперь...» (1914, 8 (кн. 2), 224). Этого простого тезиса, увиденной в Египте статуи племянницы фараона и переведенного Бругш-беом фрагмента папируса оказывается вполне достаточно, чтобы создать рассказ на вечный сюжет.

Позднее «вечные сюжеты» у Мордовцева заимствуются все чаще не из светской, а из религиозной литературы. И в данном случае египетской теме уделяется особое внимание. Особое место в ряду произведений Мордовцева на библейские темы занимает повесть «Иосиф в стране фараона» («Любимец», 1899). Мордовцев не просто пересказывает ветхозаветный сюжет — в этом случае повесть бы разделила судьбу множества сочинений «из священной истории» (признаемся, весьма слащавых и однообразных). Романист создает ряд весьма живописных картин, «виньеток» по мотивам Библии, дополняя их сведениями из античной истории — впрочем, весьма аккуратно. Но и этим переложением автор не ограничивается. Библейский сюжет становится по-настоящему авантюрным; Мордовцев обнаруживает знакомство с новейшей приключенческой литературой. Путешествие Иосифа по земле фараона строится по образцу соответствующих глав в африканских романах Г. Р. Хаггарда («Копи царя Соломона» и «Аллан Квотермейн»), а описание загадочной деятельности Иосифа (особенно тогда, когда его не узнают давно потерянные родственники) создается под влиянием «Графа Монте-Кристо» А. Дюма. Мордовцев, разумеется, не цитирует мастеров приключенческой литературы в своей повести, но стремясь увлечь юных читателей, учитывает круг их чтения. Потому указанные фрагменты «Любимца» кажутся легковес-

ными и никак не напоминают нудную лекцию из священной истории.

Да, в менторском тоне Мордовцева никто не сможет упрекнуть. Все философские медитации так или иначе связаны с антитезой египетской и иудейской культур. Божество Иосифа — «не то, которому поклоняются египтяне в символах и изображениях, но то, таинственными и непостижимыми велениями которого вечно текут к великому морю живые воды Нила» (1914, 7 (кн. 2), 15-16). По сути, эта фраза передает все особенности композиции повести. В центре оказывается попеременно то египетская, то еврейская культура. Для характеристики первой используются «символы и изображения» (описания архитектурных памятников, различных изображений, религиозной символики), для характеристики второй важны «таинственные и непостижимые» веления Божества. И потому две группы цитат сопровождают читателей «Любимца» от первой до последней главы: фразы из ритуальных славословий фараону Апеги и цитаты из Библии (почти исключительно из книги Бытия), которыми начинается и завершается текст.

Столкновение двух типов культур организуется примерно так же, как в повестях из русской истории. Особенно много параллелей возникает с произведением «Свету больше». Египетский жрец «держит», стремится постичь «непостижимое, бесконечное, необъятное» (1914, 7 (кн. 2), 19). Египет видится «тогдашним центром Вселенной», здесь «не люди живут, а боги» (1914, 7 (кн. 2), 1-2). И египтяне уподобляются богам, считая «силу мысли — подобием божества» (1914, 7 (кн. 2), 22). Именно такую абсолютизацию мысли демонстрирует вольный философ Непомнящий в повести «Свету больше».

Иосиф выражает совершенно иные представления о божественном. Он не верит в могущество индивида, он получает мудрость свыше, в награду, «ибо он добр, смирен и кроток» (1914, 7 (кн. 2), 52).

Известный эпизод с толкованием снов получает иную интерпретацию (хотя библейский текст используется почти полностью) — Иосиф не творит чудес, он использует дарованную ему способность. Поэтому ухищрения египетских жрецов вызывают у него на лице «улыбку презрения». Он познал «величие Того, который все это создал и всем этим правит...» (1914, 7 (кн. 2), 54). Так приходит осознание ничтожества человеческого разума и отказ от «гордыни». Иосиф обретает внутренний покой, недоступный вечно «дерзающим» соратникам фараона, действия которых подробно характеризуются. Он чувствует, что «горечь старой обиды <...> вытеснена умилением и сознанием, что все это миновало...» (1914, 7 (кн. 2), 69). И для характеристики религиозного сознания, носителем которого становится герой, необходимы библейские цитаты. К концу повести они явственно преобладают над цитатами из египетских текстов. Особенно ярко это проявляется в той главе, где описан приезд Вениамина в Египет. Данный фрагмент легко сравнить с первой главой, с описанием первых впечатлений Иосифа. Обнаружится немало общего, но гораздо важнее различия. Иосиф видит страну идолопоклонников, Вениамин — «чудеса Божьего мира»; пространство обновленной столицы Египта сакрализуется, библейские цитаты для такого описания куда важнее археологических данных.

Противопоставление двух культурных типов выдерживается не до конца; Мордовцев верен себе, он не упрощает картины мира, но и не может удержаться от моралистических инвектив в финале. Иосиф кается в обмане, он осознает несправедливость своих поступков, мучительного обмана отца и братьев: «Разве это не преступление, не жестокое издевательство сильного над слабыми и беззащитными?» (1914, 7 (кн. 2), 99). Разумеется, у героя есть оправдание: «Судьбой моей руководила десница Предвечного для спасения народа израиль-

ского» (1914, 7 (кн.2), 104). Однако автор осуждает всякое страдание, какими бы профетическими фразами оно ни объяснялось. И потому впечатлени торжества иудейской религии над египетской смазывается, а повесть воспринимается менее односторонне. Священная история важнее мирской, но исторические факты не должны из нее изгоняться, величие египетской цивилизации не уничтожается тем, что ее сменяет другая, не менее великая. И поэзия истории усиливается тем, что писатель-историк может показать поэтические представления различных культур (или, как в данном случае, различных религий) в рамках одного текста. Искусство доносит неподвластные времени ценности до тех, кто не отдается полностью «изучению современной жизни». А именно на таких читателей и рассчитывает беллетрист. Только они способны — вслед за автором — преодолеть временную и пространственную дистанцию и различить литературную ценность событий, когда-то развернувшихся в далекой чужой стране. И литературные формулы способствуют тому, что иное пространство воспринимается как свое, далекое становится близким, неведомое — знакомым. Соотнося египетскую культуру с культурой России, египетскую религию с христианством, Мордовцев делает экзотический материал вполне доступным. И механизм такой интерпретации, думается, не утратил интереса и сейчас.

Смежные категории

Читатель в гостях у писателя
(Визит Г.П. Данилевского в Ясную Поляну:
тема и вариации)

22-23 сентября 1885 года известный писатель Г.П. Данилевский по приглашению Л.Н. Толстого посетил его имение. По просьбе редактора «Исторического вестника» С.Н. Шубинского Данилевский составил отчет о своем посещении, позднее несколько обработал его и в 1886 году напечатал в форме очерка. Текст Данилевского, с одной стороны, довольно известен и неоднократно перепечатывался. Но в то же время в научной литературе до сих пор не рассмотрено место этого сочинения в ряду и мемуаров о Толстом, и среди сочинений самого Данилевского. Отчет поражает прозрачностью и вроде бы сообщает не слишком много фактических данных. Но простота его обманчива... Ведь из сокращенных републикаций создается достоверная фактическая канва визита, а вот смысл его утрачивается¹. Зачем Данилевский в Ясную Поляну поехал? Что там хотел увидеть? И почему об этом написал?

Об этом я и хотел бы порассуждать. Г.П. Данилевский в литературной иерархии 1870-1880-х годов занимал весьма высокое место, прежде всего благодаря историческим романам. Книги «Мирович» и «Сожженная Москва» дали многим критикам основание сравнивать Данилевского с Толстым. Данилевский писал немного, трудно, подолгу работая над каждым текстом — и качество его продукции всегда было на высоком уровне, что

¹ См. напр.: Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 346-355. В этой публикации опущены начальные и заключительные авторские замечания, вводные рассуждения, важные для понимания контекста очерка.

опять-таки современниками отмечалось. Отмечались и тематические, и эстетические параллели между толстовской эпопеей и зрелой прозой Данилевского. Тем интереснее должна быть их встреча — для Данилевского, добавлю. Ведь известно, что на Толстого визит особого впечатления не произвел. Да и мнения своего о Данилевском он, сколько известно, не изменил. В мемуарах Сергея Львовича Толстого содержится упоминание, что Л.Н. Толстой с пренебрежением относился к романам Д.Л. Мордовцева, Вс.С. Соловьева. Так что визитеру встреча была, разумеется, куда интереснее, чем хозяину. Однако интерес этот не внешний, а внутренний...

Очерк о Толстом входит в серию статей мемуарного характера, написанных Данилевским в последние годы жизни. Это заметки о Н.Ф. Щербине (опубликованные в качестве предисловия к публикации посмертных стихотворений и писем поэта), очерк «Знакомство с Гоголем», «школьные воспоминания» «Московский дворянский институт». Задуманы были, судя по заметкам писателя, тексты о семействе Аксаковых и об А.С. Норове¹. Все эти фрагменты предназначались для целостного мемуарного свода и потому тесно связаны между собой (многие из них печатались в том же «Историческом вестнике»). Но интерес здесь представляет самый отбор эпизодов.

Данилевский пишет, в принципе, не о людях — он создает свою литературную биографию, читательскую биографию писателя. Знакомство со Щербиной привело к написанию цикла «Крымских стихотворений» — подражательного и в то же время самого крупного сочинения Данилевского-поэта. Его близость к Щербине отличалась и современной критикой. Встреча с Гоголем в 1851 году подтолкнула Данилевского к созданию сначала

¹ См.: *Данилевский Г.П.* Собрание сочинений: В 24 т. СПб., 1901. Т. 14. С. 102.

«Беса на вечерницах», а потом и «Слобожан» — первого его коммерчески и творчески успешного сборника рассказов. А.С. Норов предложил своему подчиненному создать очерки «Украинской старины»; за эту книгу Данилевский был награжден Уваровской премией. И наконец, последней в ряду поворотных в творческом плане встреч является встреча с Толстым. Казалось бы, в тематическом плане самый толстовский роман Данилевского — «Сожженная Москва», завершённый в 1885 году¹. Однако лучшими его произведениями в этом жанре считаются как раз последние — «Чёрный год» и неоконченный «Царевич Алексей». Здесь толстовское влияние проявляется не в выборе тем, а в их раскрытии, смешивается с пушкинским. Посему именно эти сочинения именовались критиками «новым словом в историческом жанре».

И посему на склоне лет для Данилевского по-прежнему важны встречи с писателями. И едет он в имение Толстого, дабы найти доказательства — Толстой по-прежнему писатель, опровергнуть вздорные слухи типа: «Уверяют, что граф Л.Н. Толстой постигнут умопомешательством и его должно подвергнуть заключению <...> Он бросил перо писателя, чтобы лично заняться усовершенствованием обуви и одежды...»². И, как и в случае с Гоголем, Данилевский подбирает литературную параллель к описываемой ситуации — объявление Чацкого сумасшедшим. Толстой у него предстает таким же Чацким, оспаривающим признанные авторитеты

¹ Существует мнение, что Толстой заставил Данилевского напечатать «Сожжённую Москву», о материалах к которой Данилевский просил совета (Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников... Т. 1. С. 590-592).

² Данилевский Г.П. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1995. Т. 7. С. 416. Далее текст очерка цитируется по этому изданию с указанием страниц в тексте.

своего времени, будь то радикал Герцен или консерватор Норов.

Всякий видит в окружающем мире то, что видеть хочет. И посетитель, желая увидеть хозяина писателем, постоянно возвращается к этому вопросу. Все, что описывает автор очерка, основано на литературных отсылках и цитатах. Дом Толстого — дом, где разворачивается действие повестей: «При входе в яснополянский дом вспоминаются всем известные картины «Детства» и «отрочества» его владельца...» (422); а ныне Л.Н. Толстой «среди своих взрослых и маленьких, весело болтавших детей, напоминал симпатичного героя его превосходного романа «Семейное счастье» (432).

В описании комнат акцентируются литературные детали: фотографии писателей на стенах (особое место занимает групповое фото, где Толстой — часть литературного мира), библиотека (с обстоятельным перечнем книг), раскрытые ноты на рояле из «Руслана и Людмилы», письменный стол — с непременным панегириком тому, что было за этим столом написано... Картины природы наводят на мысли о красоте и правде — с цитатой из «Севастопольских рассказов»: «Герой моей повести, которого люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его <...> — правда» (429). И разговоры, разговоры, разговоры об одном: «Граф с сочувствием говорил об искусстве, о родной литературе и лучших ее представителях. Он горячо соболезновал о смерти Тургенева, Мельникова-Печерского и Достоевского...» (427).

Толстой, разумеется, и в отдалении от столицы существует в гуще литературной жизни — все знает, за всем следит и всему сочувствует. Так, отзыв о Достоевском, который приведен в очерке, вызвал даже некоторую полемику — слишком уж он противоречит сложившемуся представлению: «Наиболее сочувственно граф отозвался о Достоевском, признавая в нем, как в художнике-писателе, не-

подражаемого психолога-сердцевода и вполне независимого писателя, самостоятельных убеждений которому долго не прощали в некоторых слоях литературы» (428). Таким образом, Толстой ценит в Достоевском то самое, что Данилевский ценит в самом Толстом. И неудивительно: автор очерка в самом конце проясняет свою позицию, отсылая читателей к работам Страхова, «лучшего истолкователя литературного таланта Толстого» (430). Противопоставление Толстого и Достоевского — психолога-реалиста и психолога-идеалиста — только подчеркивает общность двух гениев, только выделяет Толстого как «поэта в старинном и наилучшем смысле слова» (430). Толстой, как зеркало, отражает все ожидания гостя, не желающего замечать ничего, что не вписывалось бы в вычитанный из книг образ.

Религиозные суждения Толстого тоже не пугают гостя: «они проходят по всем его сочинениям, еще с его «Юности» и «Исповеди Коли Иртеньева»» (433). Однако же, когда граф касается нелитературных и не отраженных в его сочинениях вопросах, на автора отчета будто нападает столбняк: «Я затруднился бы наряду с доступными для каждого внешними чертами Ясной Поляны передать подробно, а главное — верно, внутреннюю сторону любопытных и своеобразных суждений графа по затронутым в нашей беседе вопросам. Ясно и верно вспоминаю одно, что я слушал речь правдивого, скромного, доброго и глубоко убежденного человека» (433). Помимо уважения к частной жизни и частным суждениям, здесь важны и приоритеты рассказчика, первым описавшего быт Ясной Поляны для широкой публики. Все его рассуждения и описания должны вести читателя к одному выводу: «Можно назвать Гомером графа Л.Н. Толстого <...> Главная сила графа — в изображении мирных, семейных картин» (433).

Казалось бы, здесь можно ставить точку. Толстой многолик и каждый из посетителей видел в нем свое, находил подтверждение своим мыслям и суждениям, говорил о своем... И Данилевский, задавшись целью увидеть Толстого-писателя, именно его и увидел: «Он, очевидно, лишь готовится к новым, крупным художественным созданиям, и его теперешнее настроение — только новая ступень, только приближение к иным, еще более высоким образам его творчества» (435). Довольный визитом, писатель уехал и описал то, что захотел увидеть...

Но здесь — не вся правда; очерк Данилевского несколько глубже, чем поиск «литературной» насыщенности в жизни Толстого. И здесь его можно сравнить с очерком о Гоголе — только не с очерком 1888 г. «Знакомство с Гоголем», а с другим, о котором очень часто забывают. Я имею в виду написанный в 1852 году, сразу после смерти Гоголя, «Хуторок близ Диканьки», посвященный визиту Данилевского на родину великого писателя. И вспомнив, что Гоголь именовался русским Гомером до Толстого, мы с интересом обнаружим и другие параллели между очерками, разделенными 34 годами. В описаниях Яновщины, как и Ясной Поляны, все пронизано литературными реминисценциями, отсылками к знакомым сюжетам и героям. Даже встреча со старым слугой Гоголя — повод прежде всего поговорить о сожжении «Ганца Кюхельгартена» и о встречах с Пушкиным. Юношеские письма самого Гоголя, цитируемые в очерке, тоже полны литературных и религиозных размышлений... Вроде бы все так же и в очерке о Толстом.

Но «Хуторок близ Диканьки» обнажает еще один подтекст литературных очерков Данилевского — экологический. Постоянно возвращается автор к описанию сада, насаженного Гоголем, к связи писателя с окружающей природой и заботе о ней. То же — и в случае с Толстым: «Мы приблизились к усадьбе мимо молодых собственноручных насаж-

дений графа...» (430). И безжалостная вырубка елей, посаженных когда-то Толстым, эпизод не только яркий, но и символический. «Опять вернулось мое былое, старое чувство, досада за такую потерю!» (422) — говорит Толстой. И забота его о природе — забота прежде всего о людях, о чистоте их сознания и окружающего их мира. Экологическое сознание, описываемое Данилевским, уже привлекало однажды мое внимание; проблема защиты природы, в которой существует человек, ставится во многих очерках — в частности, в цикле «Семейная старина», где история зеленых насаждений семейства Данилевских не последнее место занимает¹. Вот эта тема в толстовском очерке и обыгрывается вновь.

Отметим, единственное рассуждение Толстого, подробно воспроизводимое Данилевским, это снова рассуждение о земле — о продаже ее в частную собственность, о появлении крестьян-помещиков. Думаю, активному участнику размежевания Данилевскому эта тема была весьма близка. Более того, в цикле рассказов «Село Сорокопановка» она является основной. И Толстой здесь выступает на стороне собеседника: «Выкуп в казну и при посредстве казны частных земель имел бы свое оправдание и полезный для государства исход» (434). Об этом же шел разговор и в путевых заметках Данилевского, и в более поздних очерках...

Так что литература не является в очерке самоцелью, а «русский Гомер» в идеале — не только писатель, а еще и эколог. Как дед Данилевского высаживал на Слобожанщине леса («Дедов лес»), так насаждали знания герои «Украинской старины» (особенно показателен очерк «Харьковские народные школы» — разговор о знакомстве Толстого с

¹ Сорочан А.Ю. Экологические проблемы в малой прозе Г.П. Данилевского // Дары природы и плоды цивилизации. Тверь, 2003. С. 57-62.

его материалами мог бы быть отдельным) и «Девятого вала». Так же насаждает знания и моральные нормы Толстой, имеющий наибольшее влияние на общественное сознание писатель. Данилевский, часто изображавший параллельно спасение природы и спасение людей, в данном случае не выводит на первый план описание постепенного облагораживающего действия просвещения — толстовская педагогика в очерке затрагивается сравнительно мало. Однако сами художественные сочинения Толстого восприняты как педагогические, сквозь их призму весь мир видится иначе — и лучше. Текст о Толстом вписывается в систему воззрений Данилевского, не является простым разовым отчетом или заметкой к автобиографии, как явствовало из сокращенных вариантов. Во многом это подведение итогов, развитие заявленных ранее тем, описание идеальной — и потому многими не принятой — экологии сознания. И потому визит Данилевского в Ясную Поляну — это не два дня объективного времени. Это куда больше... Может быть, все последние годы жизни... Может, и вся жизнь... И рассматривать этот небольшой очерк надо в более широком контексте, часть которого я и попытался воспроизвести, говоря о внутренней логике творчества Данилевского и месте в этом творчестве «толстовского текста».

Индийские очерки Е.П. Блаватской и женская «литература путешествий»

Из всех эзотерических текстов Е.П. Блаватской русскому читателю был доступен долгое время лишь один — путевые очерки, печатавшиеся в журнале «Русский вестник» и подписанные псевдонимом «Радда-бай». Это были едва ли не единственные сочинения Блаватской, созданные на русском, а не на английском языке. В 1880-е гг. эти тексты, оставшиеся неоконченными¹, привлекли некоторое внимание публики, но зачинательницу теософского движения тогда не восприняли как мыслителя и философа. И это понятно, так как тексты Блаватской виделись в контексте ином, более явном, выразительном и — для нас с вами — интересном.

Несомненно, в истории «литературы путешествий» (термин, введенный Т. Роболли в сборнике «Русская проза», 1926) Е.П. Блаватская оставила свой след. Так же несомненно, что ее реплики по поводу колониальной политики англичан в Индии были восприняты в 1880-х гг. как чистая политика, а этнографический материал служил своего рода завлекательным дополнением. Теперь, когда началось филологическое освоение «теософской» прозы Блаватской, стало очевидно сходство «простых» очерков со «сложными» книгами — «Изидой» и «Доктриной». Во всех случаях для Блаватской важны не люди, а идеи: они и персонажи, и герои, и ключи к тексту. Однако тезис о том, что в ее кни-

¹ Публикация в «Русском вестнике» обрывалась буквально на полуслове; до сих пор публикаторы указывают, что «продолжение писем не найдено» (Блаватская Е.П. Из пещер и дебрей Индостана. М., 2001), однако, судя по всему, оно не было написано.

гах «реальность всегда подчинена фантазии»¹, опровергается тремя основными книгами путевых заметок, ныне изданными под одной обложкой: «Письма из пещер и дебрей Индостана», «Загадочные племена на Голубых горах» и «Дурбар в Лахоре».

В своей работе, исходя из этих трех текстов (позднее публикаторы дополнили их несколькими мелкими заметками на сходные темы), я хотел бы рассмотреть специфику книг Блаватской и как «женской» путевой прозы, и как прозы социально ангажированной. И в том и в другом случае нам необходим весьма широкий контекст, на котором я и заострю внимание.

С восприятием женской литературы путешествий все ясно: с самого начала XIX в. укоренилось весьма своеобразное к ней отношение. Например, М.Т. Каченовский, пересказывая в «Вестнике Европы» содержание «Писем о Португалии» Марианны Балби, чаще всего отзывается о первоисточнике положительно: «С живостью своего пола и весьма занимательно (читай — занимательно и для мужчин. — А.С.) повествует о многих важных происшествиях того времени...»² Цитата, вокруг которой строится отзыв: «Но рассудите, что и тут, сидя дома, надобно каждый вечер тереться колонской водой и обонять курение трав ароматических»³. Напечатанный на соседних страницах обзор записок Франклина строится на фактах, здесь — на впечатлениях, причем вполне узнаваемо дамских. Пример не единственный, но слишком характерный для литературной ситуации первой половины

¹ Мильдон В.И. Е.П. Блаватская // Русские писатели. 1800-1917. Т. 1. М., 1989. С. 272.

² Вестник Европы. 1829. № 5. С. 36.

³ Там же. С. 34.

века. Отметим, что и в 1850-1860-х гг. сохраняется эта сосредоточенность путешественниц на «второстепенном», «чувствительном», а путешественников — на важном, «событийном». Журнальные публикации мемуарного толка также подчеркнута дифференцированы — мужские записки о странствиях и действиях, женские — о «жизне-бытие».

Но вернемся от экстраполяции к предмету разговора. Путевые заметки Блаватской встраиваются в два тематических ряда женских очерков, представленных в русской литературе 1840–1880-х гг. Во-первых, заметки с политическим, во-вторых, с религиозным подтекстом. Сочинительница, рассуждающая о русской и английской политике и о религиях Индии, неминуемо напрашивается на сравнение с такими фигурами, как О.П. Шишкина (два варианта «Записок русской путешественницы») и Е.С. Горчакова (серия очерков о поездках в монастыри). И здесь наблюдаются прелюбопытнейшие сходства и отличия...

С Шишкиной, помимо высокой религиозной цели, Блаватскую роднит и еще одно обстоятельство. Основательница теософии, как стало известно сравнительно недавно, перед поездкой в Индию предложила свои услуги III Отделению¹. Роскошный двухтомник Шишкиной вышел в типографии того же отделения двумя десятилетиями раньше. Высокие цели обеих сочинительниц заявлены на первых же страницах. Шишкина: «Души высокие не подвигаются любви моей к Родине и моему желанию убедить русских, что в России также можно наслаждаться жизнью»². Блаватская: «С терпением, а главное — с помощью ученых браминов, раз

¹ См. об этом: Литературное обозрение. 1988. № 6.

² *Шишкина О.П.* Записки русской путешественницы. М., 1848. Т. 1. С. IV.

войдя в их доверие и дружбу, всегда можно докопаться до истины»¹. Это отличает тексты обеих писательниц от прикладных сочинений Горчаковой, ставившей своей целью «возбудить *сознательно* чувства благоговения и радостного умиления»², или Е.В. Ивановой, просто пересказывающей в своих очерках о Китае заметки А.Н. Журавлева. Поэтому в первом случае получается очерк, во втором — бытописание, но никак не путешествие, ибо мотив странствия, сюжет, основанный на путешествии в какое-то определенное место, не становится центральным.

Путешественницы, обращаясь к «душам высоким», исходят из одних и тех же предпосылок. Они постоянно упоминают о том, что они русские по происхождению³, и о том, что преследуют цели «вечные», духовные. Шишкина отправилась на поклон к киевским святыням: «Киев сиял в моем воображении — и я старалась мечтами о будущем развеять тоску о настоящем...»⁴ У Блаватской явно противопоставлены собственные задачи и задачи ее спутников. «Скептически настроенная ЕПБ написала по этому поводу своему другу, что ее компаньон “преисполнился надежд ступить на земли Бомбея с правительственной печатью на за-

¹ Блаватская Е.П. Из пещер и дебрей Индостана. М., 2001. С. 56. Здесь и далее путевые заметки Блаватской цитируются по этому изданию с указанием страниц в тексте.

² Цит. по: Горчакова Е.С. Киев. М., 1886. С. 136.

³ Национальная гордость Блаватской и после принятия ею американского гражданства не убавилась: см. ее письмо к В.П. Желиховской (Желиховская В. Радда Бай // Из пещер и дебрей Индостана. С. 15–16).

⁴ Шишкина О.П. Указ. соч. Т. 1. С. 28.

ду». Полковник же по-прежнему был убежден, что духовный мир — на его стороне...»¹

Но из своих странствий Шишкина сделала следующий вывод, ныне (да и в те времена) более чем смехотворный: «Особенно вредно людям, живущим своими трудами, читать книги, которые волнуют ум и воображение»². Блаватская же в ходе путешествий решила несколько более насущных задач: были налажены контакты с учеными сообществами индийских браминов, создана штаб-квартира теософов в Адьяре и т.п. Обращение к «неземному», как видим, превосходно сочеталось с материями вполне осязаемыми.

Вообще с прозой Блаватской не столь уж ясно обстоят дела — написана она женщиной, но чаще всего под диктовку тибетских Махатм или незримых духов (наиболее подробно этот вопрос освещается в заметке 1890 г. «Мои книги»). В своих письмах писательница неоднократно касалась своих «мужских», ученых познаний, указывая на необъяснимость их появления в «женском разуме»³. Об антиномии «женского» и «мужского» начал в ее книгах не раз писали, но даже защитники Блаватской находили объяснения более чем прозаические. В частности, этому вопросу уделяли внимание Колин Уилсон и Курт Воннегут, указывая — в первом случае — на полное отсутствие романтической составляющей в жизни и странствиях Блаватской⁴, а во втором — на увлечения поздние и иронически

¹ Вашингтон П. Бабуин мадам Блаватской. М., 1994. С. 31.

² Шишкина О.П. Указ. соч. Т. 2. С. 295.

³ См., например, письмо Блаватской к Н.А. Фадеевой (Желиховская В. Радда Бай // Блаватская Е.П. Из пещер и дебрей... С. 12).

⁴ Уилсон К. Оккультизм. М., 1994. С. 134–135.

переживаемые¹. Для русского читателя конца XIX в. псевдоним «Радда-бай» — не женский и не мужской, он экзотичен, как экзотичны по преимуществу и сочинения Блаватской. Точно так же «женское» отходит на второй план и в синтетических трудах Блаватской. Одни и те же эпизоды в дневниках и в «Изиде» рассказаны по-разному: достаточно сравнить историю тоддов, которая изложена подробно, с опорой на личные впечатления в «Загадочных племенах», и сокращенный, «безличный» вариант, предложенный в «Разоблаченной Изиде»².

Отмечу, что слово «сочинительница», появляющееся в «Разоблаченной Изиде», привнесено позднейшими переводчиками: у Блаватской и ее первого переводчика А.П. Хейдока нейтральное «автор этих заметок». От женщины, называющей себя таким образом, сложно ожидать того, что зачастую обнаруживается в сугубо женских заметках. Так, В.Ф. Духовская свой «Дневник русской женщины в Эрзеруме в 1878 г.» строит на идее путешествий по Кавказу. Первый абзац прямо отсылает к «дамским впечатлениям» Бальи и Шишкиной: «Я более года жила в этом грязненьком и пропитанном болезнями городишке»³. Далее следует описание опасных путешествий, удивительных мест и необычных людей. Но единственный смысл переживаемого для героини — «с каждою верстою быть ближе к мужу»⁴. Эта фраза варьируется на каждой странице, перемежаясь сетованиями на трудность неведомых обычаев и непонятные мужнины дела. Текст Ду-

¹ *Воннегут К.* Мадам Блаватская // *Соловьев Вс.С.* Современная жрица Изиды. М., 1994. С. 322-331.

² *Блаватская Е.П.* Разоблаченная Изиды. Т. 2: Теософия. М., 2000. С. 768-772.

³ *Духовская В.Ф.* Из дневника русской женщины в Эрзеруме в 1878 г. // *Русский вестник.* 1878. № 8. С. 803.

⁴ *Духовская В.Ф.* Указ. соч. С. 805.

ховской, также появившийся на страницах «Русского вестника»; демонстрирует, чего ждет общество (и редактор) от записок дамы. Радда-бай, наблюдая странные и дивные места, руководствуется совершенно иными нормативами. Она не будет, как Е.В. Иванова, исчислять китайские преисподние и ранги чиновников, сетуя на покойного Журавлева, не объяснившего всех туземных слов¹. Блаватская не оставляет без объяснений ни одного понятия; даже самые закрытые, эзотерические она пытается истолковать доступно своим не постигшим Мудрости читателям. Она подробно описывает различие между «Индией беллати (иностранцев) и Индией гупта (тайной)» (С. 134–135). Так что, казалось бы, сходство с «женскими» путевыми заметками у Блаватской сугубо формально. И тем не менее...

Первый же абзац книги «Из пещер и дебрей Индостана» содержит описание прибытия в гавань Бомбея: «Точно громадные глазища навывкате, моргали они (звезды. — А.С.) на вас с черного неба, на склоне которого тихо сиял Южный крест... Но вот наконец еще ниже на далеком горизонте заблестал и маяк <...> Горячо приветствовали измученные путешественники давно желанное явление. Все развеселились» (С. 51). Казалось бы, поэтичная картинка из той же серии, что прибытие Шишкиной в Киев. Но в одном абзаце собраны указания на три качества, которые неизменно приписывают Блаватской все мемуаристы (да и сама она в письмах): глаза навывкате (то пронизательные, то жуткие — в зависимости от отношения к Е.П. Блаватской), вечная хворость и измученность и столь же вечное веселье, склонность к шуткам и грубоватым

¹ Иванова Е.В. Китай // Русская речь. 1881. № 12. С. 106.

розыгрышам. Что это — автоцитата или попытка охарактеризовать свое восприятие бытового события? Таких эпизодов, содержащих скрытые указания, в «Письмах...» немало.

В этом нарочито примитивном зачине Блаватская демонстрирует свободу даже в композиционном строении своих «писем». Ее «конкурентки» предпочитают тенденциозное обрамление. Шишкина начинает с обширного посвящения государю, а завершает текст французскими цитатами из Корана. Горчакова открывает очерк «Киев» цитатой из В.Г. Бенедиктова, а завершает фрагментом молитвы паломников: «Если на небе так же хорошо, как здесь, то дай нам Бог скорее умереть»¹. У Блаватской тексты либо обрываются в никуда (сожаления об утрате последних частей в письмах Блаватской, как показывают мемуаристы, не имеют под собой никаких оснований), либо, как «Загадочные племена...», завершаются повторением начальной фразы. Это создает уникальное медитативное настроение, характерное даже для самых публицистических страниц очерков.

Таким образом, «женское» присутствует в очерках Блаватской более или менее явно. «Радда-Бай» автор вполне самобытный и состоявшийся. Любопытным представляется то, что именно философская доминанта помогает вывести жанр путешествий из тупика. От «дамских» впечатлений в путешествиях 1820–1830-х гг. женская литература путешествий приходит к беспомощным трактовкам тенденций мужской прозы в 1840–1860-х и дальше начинаются поиски выхода — либо через введение новых «женских» доминант, либо через углубление «внутреннего», а не внешнего смысла путешествия как такового. Блаватскую занимает не география,

¹ Горчакова Е.С. Указ. соч. С. 136.

а эзотерический смысл странствия как такового. В книгах Желиховской (см., например, повесть «Ложь») и В.И. Крыжановской-Рочестер (прежде всего в «розенкрейцерских» романах) эта идея обретает законченное оккультное воплощение, оказывая уже воздействие и на мужскую «литературу путешествий». Другой выход, которому стоит посвятить отдельную работу, намечен в ранней прозе Е. Лашеевой, особенно в ее повести «Велосипедистка». Но это «странствие по жизни» — совершенно иное дело...

Как Мережковский в историческом романе, Чехов — в повестях, Блаватская сотворила то, что не удавалось никому из ее путешествующих предшественниц и современниц, опираясь на вневременные странствия и вневременную идеологию... И в историю жанра это имя должно войти по праву...

«Курортный текст» литературной провинции (Странствия провинциального эртомана)

Локализованность всякого художественного текста, в последнее время активно обсуждаемая в науке, еще не получила полной категориальной определенности. Воссоздавая мифологию места, исследователи провинциального текста опираются на дискуссионные дефиниции *провинция, провинциализм, провинциальность, столица*. И это ни в коем случае не является недостатком. Ведь в творчестве любого автора обнаруживается не только локальная мифология, но и осмысление пространства с использованием столь же дискуссионных категорий. К одной из них я и хотел бы привлечь внимание, воспользовавшись материалом, впервые вводимым в научный оборот.

Различение провинциализма и провинциальности, как в жизни, так и в литературе, нельзя не признать продуктивным. Однако оно недостаточно полно отражает реальную картину. Гоголевская фраза «Тут не столица и не провинция» в этом смысле программна: В.Ш. Кривонос обоснованно вводит в оппозицию столица/провинция промежуточное звено: «Окраина является... своим для столичного пространства локусом <...> В качестве пространственной периферии она играет по отношению к центру роль провинции, т.е. чужого локуса»¹. Эта «политико-географическая пространственная структура»² позволяет объяснить многие промежуточные звенья в образе мира, представляющего в сочинениях конкретных авторов. Однако если Гоголь выступает как столичный писатель,

¹ Кривонос В.Ш. «...Тут не столица и не провинция...» (Петербургская окраина у Гоголя) // Русская провинция... С. 215.

² Там же. С. 224.

творец «петербургского мифа»¹, то провинциальные авторы, для которых провинциализм — это «точка зрения», должны предложить иную иерархию.

Воспользуемся для нашего анализа жанром подчеркнуто неклассическим, «низким» и «провинциальным»². Эротические стихи, которые всю жизнь писал преподаватель Тверского кавалерийского юнкерского училища³ Николай Андреевич Стратилатов (1840 — после 1901), не предназначались для печати, но заботливо сохранялись в качестве «полного собрания сочинений»⁴. Почти три сотни произведений достаточно полно представляют весь репертуар бытовой эротики, «сделанной», впрочем,

¹ См.: *Лотман Ю.М.* Художественное пространство в прозе Гоголя // *Лотман Ю.М.* В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.

² О «провинциальности» (в значении 'маргинальности') эротической литературы см.: *Санов Н.С.* «Барков доволен будет мной!» // Под именем Баркова: эротическая поэзия XVIII – начала XIX века. М., 1994. С. 6–10.

³ Заведение это весьма репрезентативно для провинции. См. его описание: Памятная книжка Тверской губернии на 1868 г. Тверь, 1868. С. 154–160.

⁴ Биографические сведения о Стратилатове см.: *Бархатов С.* Тверской Барков // *Караван-Лоция* (Тверь). 2001. № 15 (65). С. 6; см. также: От «бутылочки» к «штофу с простым вином» (Вино в жизни и стихах провинциального эпикурейца) // Мотив вина в литературе: Материалы научной конференции. Тверь, 2001. С. 46–48; «Русские мужчины» против «Русских женщин» // *Чудовский сборник.* Великий Новгород, 2001. С. 116–120; Пушкинские материалы в архиве А. Г. Щербакова // *Тверской край – душа России.* Торжок: Всероссийский историко-этнографический музей, 2005. С. 160–165; *Торжокские стихи Н. А. Стратилатова* // *Новоторжский сборник.* Вып. 2. Тверь – Торжок: Издательство М. Батасовой, 2009; *Эротоманевры Николая Стратилатова.* Тверь, 2004. 16 с.

на весьма высоком уровне¹. Однако интересоваться нас будут только тексты, провинциально маркированные или представляющие «провинциальный» взгляд на столичную жизнь. Поскольку они никогда не публиковались, то большинство текстов приводится полностью по рукописной тетради, хранящейся в домашнем архиве автора².

Поэт ни разу не покидал пределов России, но по стране путешествовал несколько раз. Каждое странствие давало материал для литературного творчества, хотя и несколько однообразный. В ранних стихах география для эротики не важна: Англия, Франция, Испания описываются в точности так же, как Россия. Единственными маркерами оказываются типы женской красоты, как в стихотворениях «Европейские красавицы» и «Три грации» (оба — 1870). Все остальные тексты лишены пространственной привязки: занимательны для автора совсем другие детали.

Однако после переезда поэта из Коврова в Тверь картина несколько меняется. Родной город оказывается чем-то недостижимым, отношение к нему дается сквозь призму литературных штампов — как, например, в экспромте «В виду приближающегося Коврова» (до 1878):

Знаю, скоро рассыплется прахом
Все, чем жил я, так сильно любя.

Я к тебе приближаюсь со страхом
И с тоской покидаю тебя!

¹ Образцы творчества Стратилатова в других, прикладных, жанрах см.: *Бархатов С.* «Дама из Амстердама»: Тверской эрос XIX века // *Караван-Лоция.* 2001. № 22 (72). С. 14.

² Выражаю благодарность Г.А. Щербаковой за предоставленные материалы.

А в жизни тверской провинции акцентируется застойное начало. Стратилатов продолжает в своем роде традицию критики провинциального быта, основы которой были заложены в русской литературе еще в 1840-х гг. Происходит невероятное: поиск эротических наслаждений отходит на второй план, становится до обидного будничным и скучным. Неоконченное стихотворение «Торжок» (1871), наряду с упоением провинциальной тишиной, содержит и некоторое подспудное разочарование в «милом» месте:

О, драгоценный град Торжок!
Ты для меня милее,
Чем самый лучший пирожок!
В тебе все веселее!...
Хотя не очень-то велик
Твой торг малодоходный,
Но ты склонил свой нежный лик
Над речкой судоходной.
В тебе раз туфли я купил
И взял на откуп деву...¹

Далее антитеза провинции и столицы выступает в предельно обнаженном виде в программно названном стихотворении «Тверь и Москва». Здесь автор решительно отдает предпочтение центру, предоставляющему больше возможностей для наслаждения:

¹ Разумеется, автор вряд ли подозревал о существовании поэмы А.М. Бакунина «Торжок», в которой также преобладает тон «снисходительной иронии» Ср. у Бакунина: Своими славный солодами
И красным <нрзб.>, швеями,
И золотыми сапогами
Старинный городок,
И перепутье двух столиц,
Волшебный фонарек
Путьшествующих лиц.
(Бакунин А.М. Собрание стихотворений. Тверь, 2001. С. 92).

Нет нигде никого. Все безмолвно в Твери.
А в Москве-то бьет жизнь, что есть мочи:
Подле бань, на бульварах любую бери —
Хочешь днем иль в течение ночи!
Приводи в номера, раздевай догола,
Ставь хоть раком, хоть вниз головою,
Говори — чтобы в жопу иль в рот бы дала! —
И на все согласится с тобою.

Даже неприкосновенный ранее Ковров упоминается теперь подчеркнуто иронично. Стратилатова влечет теперь новый «Ковров», который весьма похож на прежний:

Под вечер жаркого июля,
Среди пестреющих цветов,
Сидели Соня, я и Юля
В саду гостиницы «Ковров»¹.
За садом луг, нависла ива,
Чернела роща между гор.
Мы пили чай, вино и пиво,
Вели веселый разговор.
Раскрылось все, не зная меры.
Сияло чрево белизной,
Чернел кудрявый куст Венеры,
Вливая в тело сладкий зной.

Дело происходит в Москве, выступающей в своей столичной ипостаси. И всякое сближение с ней провинциал, сознающий свой провинциализм, неминуемо приветствует. Поначалу это ограничивается сугубо географическим планом. Обратим внимание на то, что стихотворение маркировано автором как написанное на железной дороге. Путешествие стирает границы и лишает пассажиров признаков провинциала или столичного обитателя.

¹ «Гостиница «Ковров» — в Москве близ вокзала Владимирской дороги, немного далее от города» (прим. автора).

Достаточно взглянуть на «Дорожные заметки» (30 авг. 1872. М.<осква>), текст, во многих отношениях весьма любопытный:

Днем часов в двенадцать прибыл в Петушки я.
На столе там были разные жаркия.
Вилками, ножами все стучали звонко.
Соблазнившись этим, я спросил цыпенка.
Поедая с сладким чувством эту птицу,
Я совсем забыл, что едем мы в столицу.
Только оглодал я маленькую ножку,
Как звонок жестокий гонит в путь-дорожку.
С затаенной злобой, но с бессильной впрочем,
Побежал к вагонам я с народом прочим.
Бедному цыпенку я в дверях вокзала
Бросил взгляд прощальный... и мне грустно стало!
«Взять бы Вам с собою, — вовсе нет тут срама» —
Рядом помещаясь, мне сказала дама...

Данный текст представляет собой первое упоминание прославленных позднее Петушков. Но для нас важнее ощущение автором себя как части «народа прочего». Провинциальный эротоман осознает, что он ничем не хуже прочих обывателей. Ощущение собственной недостаточности уступает место поиску новых впечатлений. Из окна вагона герой наблюдает за жизнью мест, еще более удаленных от столицы, чем Тверь или Ковров. И «впадает в амбицию», выражающуюся в свойственных жанру эскападах. Например, в адрес ни в чем неповинного города Кобеяки на Полтавщине:

Горы, рощи, буераки
Скрыли город Кобеяки
От моих очей.
Я б напомнил Кобеякам
Как я тер в них деву раком
Посреди ночей.

Тема исчерпана. Далее — следующий город, следующий экспромт. Провинциалу, отправившемуся

в путешествие, мелькающие за окнами городки и села кажутся мелкими и никчемными. Его влечет...

Тут и возникает центральная проблема, к которой все вышесказанное было только подступом. Куда отправился наш литератор? И в чем магия этого места, так волшебным образом преображающего провинциала, места, где он чувствует себя наравне со столичными жителями и свысока взирает на провинциальных аборигенов? Этот локус, в котором происходит размывание границ между «медвежьим углом» и «центром мира» в России XIX в. имеет лишь одно наименование — *курорт*. Новая локальная идентификация затронула при посещении юга России и героя, и автора.

Здесь оппозиция совершенно иная: курортник/обыватель. Первый ощущает себя частью общества, которое второй должен обслуживать. Такое существование не просто примиряет провинциала с действительностью, но заставляет забыть об изначальном положении дел. Недаром первое написанное на юге стихотворение Стратилатова носит подчеркнуто несерьезный и «нелитературный» даже характер. Это как бы отклик на предложение вступить в новый мир, играть по правилам, невозможным в прежней реальности. Это отклик на надпись неизвестного автора в Архиерейской беседке в Железноводске (2 июля 1875; в нижней части страницы оставлено место для этой надписи, но она не вписана):

В уединенном месте этом
Ты вздумал сделаться поэтом.
Где ни садись — напрасен труд:
Места таланта не дадут.
И строки нашего дуэта
Смешней крыловского квартета.

И то, что стихи не пишутся, а вырезаются на стене беседки, еще более подчеркивает несерьез-

ность и новизну (для вынужденного писать «в стол» поэта) ситуации. Соревнующиеся авторы незнакомы, место их постоянного жительства неважно: они принадлежат к сообществу, принимающему «курортные» нормы поведения.

Поездку 1875 г. автор называет «I<-ым> Кавказским путешествием», придавая ей особое значение. Этот год открывает новый период в творчестве Стратилатова — как количественно, так и качественно. Традиционные в его поэзии адюльтерные ситуации трактуются с легким налетом абсурда. Курортная вседозволенность стимулирует запретные фантазии и заставляет снисходительно относиться к «обывателям», замечая их в самых крайних случаях. «Ревность», фигурирующая у Стратилатова в одноименном «южном» стихотворении, выглядит нелепо на фоне проснувшихся аппетитов столичных и провинциальных курортников (обратим внимание и на местоимение множественного числа), так как их удовлетворение — нечто само собой разумеющееся.

Такими приключениями отдыхающий автор заполняет свой досуг. В рамках «курортного мифа» внешний мир попросту отсутствует, задумываться о его существовании не хочется. И мысль о прекращении «курортного досуга» вызывает глухое сожаление:

Еще последние два дня,
И уж до будущего года
Не будет больше для меня
Из Твери дальнего похода.

Впрочем, путешествия никогда не проходят бесследно: остаются воспоминания и надежды. Надеждам Стратилатова суждено было сбыться десятилетием позже, во время второго путешествия на Кавказ и в Крым. Теперь многие впечатления привычны. Ситуация пассажира оставляет поэта без-

различным. Стремление изжить собственный провинциализм проявляется в сохранении традиционной нормы поведения: точно так же представители высшего света ведут на курортах ту же жизнь, что и в столицах. Прологом к текстам второго путешествия становятся следующие строки («Нежинская жопа», 1886):

Не видал я Конотопа,
Не видал я и Бахнач.
Только видел — чья-то жопа
Все скакала словно мяч.
При внимательном смотре
Я узрел в ней две дыры.
Значит жопа, без сомненья,
Мне несла любви дары.

<...>

Вот я прибыл в Нежин город¹
И в гостинице сижу.
Расстегнув штаны и ворот,
Я из номера гляжу.
Вдруг я вижу — без салопа,
Без калош — к исходу дня
Преогромнейшая жопа
Скачет прямо на меня.
Я промолвил ей для смеха:
«Эй, сударушка! Поверь —
Уж такая-то потеха
Будет нам с тобой теперь!»
«Ну-ка, ну-ка, полезай-ка!
Двери, окна я запру.
Ну-ка, беленькая зайка,
Подворачивай дыру!»

Большое стихотворение «Южный берег Крыма» продолжает тему курортной сексплуатации — свободная (купленная за деньги) любовь доступна для провинциала и для столичного жителя, между ко-

¹ Нежин — город в Черниговской области; известен с 1147 г.

торами никакого различия нет. А свободное поведение оправдывается «курортной» нормой:

Не пощупал я мокрого низу; а грудь
Потрепал, дав всю сумму просиму
И помчался в гостиницу «Ялта» соснуть
Пред дальнейшим движеньем по Крыму.

Собственно, на этом путешествия Стратилатова в пространстве заканчиваются. Он возвращается в Тверь — к преподаванию, тайным утехам, коллекционированию неприличных картинок. Но «курортный миф» непременно присутствует в его творчестве — в стихотворениях 1890-х годов.

Собственно, теперь можно обратиться к выводам. Но мы должны сделать еще одно важное замечание. Исследователи творчества русских классиков мимо темы курортных романов пройти не могли. Но в данном случае определяющими являются не отдельные события, а самая модель поведения, принципиально чуждая писателям, ориентированным на столицы. Герои Лермонтова и (менее очевидно) Чехова продолжают жить привычной жизнью, герой Стратилатова на юге попадает в другую колею. И потому «курортный миф» автора-провинциала (во всех смыслах этого слова) заслуживает подробного рассмотрения.

Между соотношениями столица/окраина и провинция/курорт наблюдается определенное сходство. Точно так же как окраина является географически частью столицы и не является ею духовно, так географически все курорты России — провинции, но для самой провинции они оказываются «чужим локусом». Та же двусмысленность углубляется и далее: курортное состояние опасно и желанно, оно непохоже ни на столичное, ни на провинциальное. И удовлетворение запретного желания как раз и ведет к печальной развязке. Стихотворение Стратилатова «Полицейские стражи» (конец

1870-х), написанное «по следам» первого путешествия, иллюстрирует в сниженной, иронической форме эту опасность:

Вчера, лишь только смерклось,
Пошел я в дальний сад
С намереньем решительным –
Пощупать женский зад.
Иду. Вот юбка белая
Шмыгнула в темноте.
Я к ней. Она откашлялась
И скрылась в кусте.
Живот и жопу женскую
Не щупал я давно.
И быстро в куст я ринулся,
Наткнувшись на говно.
Раздвинув сучья длинные,
Ее я увидал
И прежде жопощупанья
Я гривенник ей дал.
Лишь только жопа белая
Представилась очам,
Два стража полицейские
Хватили по плечам...

Снобизм жителя столицы в пределах «курортно-го локуса» уместен столь же мало, как и провинциализм. Провинциал на «окраине» чувствует себя как дома, а петербуржцы и москвичи продолжают привычное существование на курорте. «Столичная» литература мифологизирует провинцию и окраину, литература «провинциальная» — столицу и курорт. И в то же время «южное», курортное существование создает уникальную игровую атмосферу, примиряя ненадолго (и иллюзорно) непримиримое. Поэтому здесь возможны удивительные, фантастические, необъяснимые события, в равной мере затрагивающие провинциала и петербуржца. И данный локус во многом проясняет как противостояние, так и неизменно устойчивое сосуществование столицы и провинции. В каждом из двух антитетиче-

ских состояний обнаруживается своеобразная «отдушина» и возможность «промежуточного» существования — пусть и очень ненадолго. Тем самым снимается проблема жесткой бинарности категорий и возникает возможность нового психологического и литературоведческого истолкования «столичного» и «провинциального» мифов.

В жизнеспособности «курортного» локуса ни у кого из наших современников сомнений, думаю, не возникнет. И хотя тексты Стратилатова скорее обедняют его, но они репрезентативны именно в силу тематической ограниченности и сюжетной заданности. Даже в жестких рамках прикладной эротической поэзии третья составляющая вырисовывается более чем ясно. И «для уяснения литературного аспекта провинциальности»¹ курортный текст может дать не так уж мало.

¹ Кошелев В.А. О «литературной» провинции и литературной «провинциальности» нового времени // Русская провинция... С. 47.

Новое открытие Вселенной, или несколько провинциальных сюжетов

На следующих страницах мне хотелось бы привлечь внимание читателей к ряду проблем, связанных с идентификацией локального текста. Как показывает анализ сборников, посвященных провинции в русской литературе, внимание исследователей доселе сосредоточено на определенном круге тем: образ провинции в литературе, судьба провинциального писателя, локальная мифология... Вне поля зрения остаются многочисленные вопросы. И хотя на них сложно ответить в форме заметок, однако наш опыт вполне может послужить материалом для расширения «провинциального» дискурса.

1. Провинция для детей: Сергей Голицын

Повесть С.М. Голицына «Сорок изыскателей» в 1960-х гг. стала частью «новой» детской литературы. Книга обрела значительную популярность, последовали два продолжения (впрочем, повесть «За березовыми книгами» в целом повторяет конструкцию первой части, а «Тайна старого Радуля» несравнимо слабее первых двух повестей). Однако в последнее время повести С.М. Голицына забыты прочно и, кажется, не возникает нужды в их переизданиях.

Книги Голицына строились одинаково: московский детский врач, глава интеллигентной семьи (жена, сын и дочь), проживающей в коммуналке, по воле случая или по собственному желанию, присоединяется к походу московских школьников в провинциальные города: Зарайск (в повести Любеч), Ярославль и другие. В «Сорока изыскателях» особое значение приобретает то, что деятельность школьников не регламентируется пионерской ор-

ганизацией; автор ратует за развитие изыскательского движения, а «правильных» пионеров изображает на редкость противными «бюрократами в коротких штанишках». Как известно, повести эти во многом автобиографичны, походы совершены в реальной жизни. Но интересует нас другое: освобождение от регламентации оказывается возможным в ходе путешествия в провинцию. Для автора подмосковные города провинциальны, несмотря на незначительную удаленность от столицы; здесь действуют иные законы, идет иная жизнь, здесь возможно общение, основанное на иных, нежели в столице, принципах, более свободное и содержательное.

Доктор с дочерью в «Сорока изыскателях» сначала выезжает на отдых в Золотой Бор — подлинно дачный поселок, в котором жизнь проходит в бытовых заботах; даже самые «романтические» подробности в таком контексте выглядят смехотворно: «Поспела малина, но от малины сразу же пришлось отказаться, хотя росла она, как выражался хозяин, "тысячной россыпью", за семь километров, в каком-то Кузькином враге, пополам с крапивой; к тому же там водились гадюки, а лет двести назад прятались разбойники во главе с а:гаманом Кузькой». Этот мир полностью регламентирован, знаком всякому жителю метрополии и не особенно интересен. И люди окружают героев скучные, не особенно занимательные внешне. Единственное исключение — дети; доктор с самого начала с интересом подмечает, насколько все они оригинальны и интересны.

С ними он и отправляется в поход, где совершается освобождение от условностей; все правила и указания пионервожатой игнорируются, и начинается свободная жизнь. Впрочем, это понятно: дети именно так и должны себя «на природе» вести.

Но вот пионеры приближаются к Любцу, пребывание в котором вроде бы должно подчиняться

строгому плану: «Далеко-далеко, за третьим полем, в светлой дымке возникли очертания города с голубыми островерхими башнями, с голубыми древними кремлевскими стенами. Город точно висел в воздухе. Отсюда, с нашего бугра, кремль казался таинственным замком. И так хотелось думать, что именно в этом замке была спрятана заколдованная красавица в сиреновом платье с кружевами...

Подошли все остальные.

— Ах как красиво! — прошептала Люся.

— Едва ли этот рюкзак отстирается.

Скрипучий возглас Магдалины Харитоновны вытащил нас из царства сказок. И еще я вспомнил, что вечером мне предстоит рассказывать о своих "путешествиях". И сразу у меня засосало под ложечкой¹. Сказочный мир существует по своим законам; провинциальный город, в котором древность обретает облик не бытовых легенд, реальных воплощений старины, живет иначе. Конечно, в Любце (Зарайске) есть исторический центр — древний кремль. Однако старый город не ограничивается крепостью². Вблизи город утрачивает сказочность, но сохраняет «живописность», ошутимую и на окраине, и в центре.

Этот город — воплощение иного, которое отменяет все правила, регламентирующие жизнь столичного жителя. Именно поэтому такой вызывающе «непедагогичной» становятся повесть в «любецких» главах. Дети нарушают порядок экскурсии, допуская самые двусмысленные комментарии в адрес хранителей музея, — и узнают много нового о таинственном портрете. Потом едва не обруши-

¹ Голицын С. М. Сорок изыскателей. М., 1989. С. 17. Далее повесть цитируется в тексте по этому изданию.

² См. об этом: Клубкова Т.В., Клубков П.А. Русский провинциальный город и стереотипы провинциальности // Русская провинция: миф-текст-реальность. М.; СПб., 2000. С. 23.

вают ветхую башню — и находят в ней тайник. Срывают исследования геодезистов — и опять делают интересную находку. Далее вся повесть строится на сознательном нарушении изыскателями всех и всяческих регламентаций; такое невозможно в столице и ближайших к ней регионах. Отчасти объяснение дает изыскатель Номер Второй, директор любецкого музея, «антипедагогично именующий уважаемых людей» по номерам: «Среди людей встречаются эдакие живчики, энтузиасты своего дела, увлеченные им; даже, я бы сказал, одержимые в некотором роде». В подтверждение следует история бухгалтера, который выращивал голубые георгины. Его дом в Любце снесли при строительстве нового завода, он переехал в Золотой Бор — и там уже превратился в нелюдимого, мрачного хозяина...

Особый интерес представляют «московские» главы, когда большинство изыскателей прибывают в столицу. Любоваться ее достопримечательностями они толком не успевают — гораздо важнее оказываются теснота и обилие правил, от которых герои (и читатели) успели уже отвыкнуть.

В Москве изыскатели обнаруживают потомка купца Нашивочника — перед этим встретив его однофамильцев, занятых разными бытовыми делами. Семен Петрович Нашивочников, исторический романист, увы, не в состоянии изысканиями заниматься — вынужден соблюдать многолетний «постельный режим».

А любецкие старички-непоседы — от директора школы до художника Ситникова — сохранили всю энергию и свежесть молодости. Время, кажется, над ними не властно, как не властно оно и над самим городом, где пионеры так долго разыскивают портрет. И находят его... в Золотом Бору, в чулане «Номера Четвертого», вырастившего-таки свои голубые георгины.

Мир провинции превосходит мир столицы — ощущением свободы, насыщенностью, жизненной энергией. И «провинциальные» герои оказываются интереснее и лучше «столичных». У детского читателя формируется интерес к провинции — не потребительского, но «изыскательского» свойства. Именно такую квази-педагогическую задачу и ставил, судя по всему, автор повести.

2. Провинция для иностранцев: Г.Х. Манро (Саки)

Казалось бы, восприятие иностранцами русской провинции — тема, давным-давно замеченная и раскрытая. Сразу вспоминаются и записки А. Дюма-отца, и куда более давние путевые очерки иностранных дипломатов¹. Но в данном случае меня интересует пограничный случай, позволяющий ответить на вопрос: как и когда документальное описание русской провинции становится художественным произведением?

В 1901 в Россию прибыл Гектор Хью Монро, дипломат и беллетрист, к тому времени автор ряда фельетонов и романа-памфлета «Алиса в Вестминстере». Он прожил здесь до 1905, создал фундаментальный труд «Становление Российской империи»; в Великобритании к этому времени уже публиковались «клубные рассказы», принесшие Монро славу. Позднее они были собраны в книгах «Реджинальд», «Хроники Кловиса» и других. Монро взял себе псевдоним Саки — имя виночерпия в рубаи Омара Хайама. Он был очень популярен до мировой войны и погиб в 1916 г. на немецком фронте. После смерти писателя, в 1924 г., вышел сборник

¹ См., например: *Соколов И. И.* Тверской край в XVI - XVII вв. по описаниям иностранцев // Литература Тверского края в контексте древней культуры. Тверь, 2002. С. 118-180.

«Квадратное яйцо», включавший три пьесы и несколько рассказов, ранее печатавшихся в периодике.

Среди них — «Старинный город Псков» («The old town of Pskoff»), произведение «профессионального журналиста», «шедевр жанра»¹. Монро представляет Россию начала XX в. страной, «где царят недовольство и беспорядок» (399). И журналисты — и русские, и иностранцы — пишут в основном о катастрофах и бедствиях. В противовес их корреспонденциям создается текст, знакомящий с иными сторонами российской жизни, переносящий читателя «в новую и незнакомую атмосферу» (399). Эта атмосфера оказывается в высшей степени притягательной. Для ее воспроизведения Монро не жалеет сил и средств. Перед нами не путевой очерк, так как автора не интересует собственно приближение к заглавному месту; все необходимые элементы, из которых складывается образ провинциального города в путевых заметках², в тексте отсутствуют. Только когда город, лежащий в стороне от «исхоженных троп и мест», появляется на горизонте, автор начинает свой рассказ о «старинном русском поселении, не тронутом монгольским влиянием» (400). Для Монро самое интересное в Пскове — как раз отсутствие позднейших влияний. В городе оживает древность, всё новые и новые свидетельства которой обнаруживает автор очерка вместе с читателями.

Город сохраняет все средневековые черты: он по-прежнему остается убежищем от «врагов в человеческом обличье» и от «сил тьмы». Бастионы и

¹ Богданов И. Предисловие переводчика // Саки. Омлет по-византийски. СПб., 2005.

С. 14. Далее тексты Саки цитируются по этому изданию.

² Лурье М.Л. «Весьегонск городишко пребеднейший...» // Провинция как реальность и объект осмысления. Тверь, 2001. С. 129.

церкви путешественник замечает прежде всего, и для него старинные постройки становятся символами свободы от времени. Всё: и конструкция мостов, и архитектура жилых домов, и одежда жителей — подтверждает тезис: перед нами оживает история, мы попали в иное место. «Городские жители вполне вписываются в живописную гармонию богатого окружения, принадлежащего старому миру» (401). «Принципиальная неизменяемость провинциального мира»¹ для автора текста не означает застоя. Напротив, Монро подчеркивает, что город полон движения — праздничного, яркого, впечатляющего. Двигутся люди и повозки, несутся воды реки, возносятся ввысь купола соборов ... И «печально-прекрасные святые места Санкт-Петербурга» (402) на этом фоне утрачивают очарование, их «гнетущая атмосфера» и «всеобщее отсутствие интереса к истории» невыгодно смотрятся на провинциальном фоне.

Теперь время заметить главное: Монро, строго говоря, не пишет очерк. Он ограничивает сферу своих наблюдений и сообщает об этом читателям: «У каждого свои горести, и псковитяне с их кажущимся довольством и поглощением самими собой, быть может, имеют собственные представления о том, как приблизиться к новой счастливой жизни» (401-402). Автор игнорирует то, что творится за пределами провинциального города; только в начале и в конце текста он сравнивает историю и современность, провинцию и столицу. Провинциальный город самодостаточен; мир, в который переносится читатель, фиктивен, перед нами иллюзия, но иллюзия, создаваемая художественными средствами. Сам создатель иллюзии сознает ее условность; но перед нами никак не очерк, не журнальная статья, а рассказ. Ибо реальный мир захолуст-

¹ *Кривонос В.Ш.* Уезд-городок: миф о Ельце в русской литературе // Во глубине России. Курск, 2005. С. 64.

ного города обретает в коротком произведении Монро иные качества, превращается в идеальный мир яркого, притягательного прошлого, в мир «вторичный», но оттого ничуть не менее изысканный.

3. Провинция для литературных провинциалов: Борис Штерн

Эту заметку можно было бы озаглавить: «Провинция в кубе». Ведь речь пойдет о маргинальной (то есть провинциальной в известном смысле) литературе — фантастической — и о тексте, в котором местом действия является провинция глухая. А еще речь о субкультуре, которая могла действительно существовать только в провинции советской — о культуре клубно-фантастической деятельности. Деятельность КЛФ (клубов любителей фантастики) в СССР строго регламентировалась. В 1980-х гг. это привело к разгрому клубного движения. Но до тех пор фэны (любители фантастики) сохраняли некую свободу действий — собрания, творческие мастерские, даже съезды — конвенты. Разумеется, столицы для подобных акций были закрыты. И многие конвенты, начиная со свердловской «Аэлиты», проводились в более или менее удаленных регионах. Вокруг них и кооперировались деятельные, «настоящие» фэны. Конвент и сейчас остается одной из наиболее эффективных форм деятельности фэнского сообщества. И к этой среде как раз имеют прямое отношение и Борис Гедальевич Штерн, и его повесть «Шестая глава "Дон Кихота"».

Действие большинства текстов Штерна разворачивается в его родной Одессе; этот город от традиционной провинции отличается по многим показателям¹, перечислять которые здесь нет нужды. В

¹ См.: *Одесский М.П., Фельдман Д.М.* От Старгорода к Черноморску: Одесса в диалогии И. Ильфа и Е. Петрова

данной повести провинция иная — райцентр Мамонтовка: «Райцентр находился в глубоком русле усохшей речке, впадавшей некогда в Эвксинский Понт < ... > Здесь стояли какие-то вечные сумерки из-за того, что Солнце заглядывало сюда всего лишь один раз в день полполудни < ... > постоит над этой дырой, посмотрит, плюнет и отойдет»¹. Вроде бы всеми средствами создается образ абсолютного захолустья, «прорехи в мироздании», пустого места, в котором обитает полубезумный организатор «Великого Кольца» ветеран Федор Федорович.

Но — в который раз возникает это «Но!» — обнаруживаются всё новые и новые детали, опровергающие первоначальное впечатление. Приходит в Мамонтовку письмо от Рэя Бредбери. Перевод письма гласит: «Дорогой май френд господин Ванька Жукофф! Лично у меня всё о'кей, чего и тебе желаю. С радостью узнал, что мои дела в далекой России идут (обстоят?) распрекрасно» (545). Как все прекрасно помнят, Ванька Жуков отправлял свое письмо «на деревню дедушке». Оттуда, из «двухэтажного особнячка», и приходит ответ в райцентр. Потом выясняется, что «в Мамонтовке многие бывали, даже Исаак Бабель бывал. А вот Ильф с Петровым (одесситы! — А. С.), к сожалению, не удосужились...» (553).

Федор Федорович ждет визитов «марсианинов», организует Великое Кольцо и попутно сообщает читателям, что в Мамонтовке чего только не было — и чего только не будет! А еще мы узнаем, что «в этом городе не один такой Дон Кихот был» (555). Провинциальный город наполняется героями про-

// Русская провинция: миф-текст-реальность. С. 284-285.

¹ Штерн Б. Г. Сказки Змея Горыныча. М.; Донецк, 2002. С. 544. Далее цитаты даются по этому изданию с указанием страниц в тексте.

шлого, обретает подлинное значение; жизнь в этом городе становится осмысленной и разумной. Финальным аккордом становится появление художника-диссидента-миллионера, картины которого присутствуют на заднем плане на протяжении всего действия повести. Гений Кеша жил не только в том же городе, но и в той же самой квартире, что и организатор Великого Кольца Федор Федорович.

Сюжет повести более чем занимателен, но его оценит любой читатель Штерна. Моя же задача в том, чтобы лишний раз напомнить о насыщенности образа провинциального города. И чем этот город фантастичнее, чем больше мы о нем узнаем, тем сильнее проникаемся мыслью: «Менее всех сошел с ума в этой истории именно тот, кого заперли в сумасшедший дом» (583). Федор Федорович укрывается там от всех катаклизмов реальной Мамонтовки; для него город остается центром Великого Кольца, средоточием Вселенной в соответствии с новой моделью, порожденной тоннами прочитанной фантастической литературы. И только выйдя на свободу и обнаружив, что в Мамонтовке воцарилось безумие, Федор Федорович не сумел смириться с вариантами, предложенными в реальном мире: «Превращаться в Бонапарта, уезжать в Сан-Франциско или идти начальником штаба гражданской обороны сахарного завода?» (588).

Спасения вроде бы нет; число вариантов, предлагаемых человеку провинциальным миром, ограничено до предела. Но Мамонтовка, исходя из того, что мы уже узнали, совсем и не провинция, а центр Великого Кольца. Поэтому приезжает туда (из прошлого и из Европы) Герберт Уэллс и интересуется: «...какого черта вы тут делаете во мгле семьдесят пять лет?» (590).

Собственно, на этом повесть кончается, кончается и история мамонтовской провинции. И конвент, о котором мечтал Федор Федорович, должен утвердить за райцентром новый статус — статус

центра Вселенной. На такую центральную роль и претендовали все места проведения НФ-конвентов, именно так можно изменить положение литературной провинции. По крайней мере, фэны в это искренне верили...

Все вышеизложенное остается только материалом для дальнейших исследований. Но следует констатировать неоднозначность литературных интерпретаций провинции, особенно если мы рассматриваем их в новейшей перспективе, привлекая источники «со стороны». Это расширение сектора исследований позволяет поставить под сомнение часто звучащее утверждение: в литературе «в подавляющем большинстве примеров провинциальность — это изолированность, нетребовательность, отсталость, дурной вкус, грубость, пошлость, бедность, лень»¹. Бесспорно, облик провинции гораздо сложнее и неоднозначнее; различные варианты провинциального мира требуют детального описания, систематизации, которая сможет в итоге создать карту литературных провинций.

¹ *Савкина И.* Русская провинция: культурные концепты и опыт повседневности // *Во глубине России.* С. 241.

Творчество П.П. Бажова и русская авантюрная проза 1920-х гг.¹

Творчество П.П. Бажова чаще всего рассматривается в контексте фольклора и литературной сказки². Несомненно, сказы Бажова тесно связаны со сказочной традицией, как фольклорной, так и литературной. Но в настоящем разделе мы хотели бы рассмотреть несколько иные литературные контексты, важные как для понимания отдельных произведений Бажова, так и с точки зрения его литературной эволюции.

Как известно П.П. Бажов, принимал активное участие в политической жизни конца 1910 — начала 1920-х гг.³ Эти события отражены в его произведениях «За советскую правду» (1926), «Спор о стихах» (1928-1951), «Бойцы первого призыва» (1934)⁴ и т.д. Однако тексты, посвященные партизанскому движению, в 1920-1930-х достаточно многочисленны. Как правило, эти тексты носили авантюрный характер. И в контексте русской авантюрной прозы этого периода произведения Бажова выглядят несколько непривычно. Мы рассмотрим лишь несколько примеров произведений,

¹ Первоначальная редакция данного текста написана при участии А.А. Никодимовой.

² Блажес В. В. П. П. Бажов и рабочий фольклор: Учеб. пособие по спецкурсу для студентов филол. фак. / В. В. Блажес. — Свердловск: УрГУ, 1982. С. 49-77.

³ Плотников И. Ф. Павел Петрович Бажов как политик и историк / И. Ф. Плотников. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2004.

⁴ В данной главе мы не рассматриваем очерковые книги «Бойцы первого призыва» и «Формирование на ходу»; хотя они и дают значимый для понимания темы материал, но заказной характер этих текстов не позволяет обсуждать их вместе с автобиографическими повестями и сказами.

в которых речь идет о событиях гражданской войны на Урале и в Сибири; думается, эти тексты позволят по-новому взглянуть и на повести, и на сказы Бажова. Подобно многим авторам послереволюционной эпохи, он начинает с автобиографических текстов и переходит «от реальности к вымыслу». Но если, к примеру, Аркадий Гайдар и Николай Островский пишут свои самые известные книги, основываясь на впечатлениях, изложенных еще в ранней прозе, то Бажов движется в ином направлении — от автобиографии к сказке; и дело не только в разнице поколений и жизненного опыта. Для понимания такой эволюции любопытно рассмотреть тексты послереволюционной эпохи, где автобиографическое и сказочное соседствуют и причудливо трансформируются.

И самый очевидный из этих примеров — повесть Антона (Фердинанда) Оссендовского «И боги, и звери, и люди». Оссендовский (1878–1945) родился в городе Витебске, учился в Санкт-Петербургском университете и в Сорбонне, преподавал в Томском университете, работал инженером в Сибири и на Дальнем Востоке, активно участвовал в революционном движении 1905 г. и всю жизнь писал. Его судьба напоминает захватывающий остросюжетный роман. И в этой судьбе великое множество пересечений с судьбой Бажова. Точно так же, как Бажов, он дважды оказывался под следствием из-за своих действий во время гражданской войны, был уличен в «приписывании» стажа (правда, не партийного, а партизанского), скрывался от революционных беспорядков, а позднее писал книги на экзотическом материале, рассказывая об удивительных краях и временах¹.

¹ Подробная, хотя и не лишенная налета сенсационности биография Оссендовского: *Михаловский В.* Кем был Антоний Оссендовский? // Оссендовский А.Ф. Люди, боги,

Но Оссендовский находился по другую сторону линии фронта — и был ярким сторонником колчаковского правительства. О своих странствиях по Уралу и Сибири он написал повесть «И звери, и боги, и люди» (англ. 1922, польск. 1923, рус. 1925).

Основой сюжета, как и в автобиографической повести Бажова, становится поиск. Но квестовая структура обманчива — путешествие осуществляется не к какой-то цели, а от нее, к спокойной жизни:

У Бажова этот мотив повторяется неоднократно:

«— Здесь насчет веры свободно, только жить плохо. Ни тебе агресту, ни яблочка. Пшеница и та через пять лет родится. Всю зиму мужики буровят пилу. Остякам тут только жить!

— Бесперечь переселяться надо на новые места. Где потеплее. Вот только заваруха кончится. Жить стало невмоготу. Дом сынок развел большой, а кончать нечем»¹.

И у Оссендовского с самого начала текста воспроизводятся сходные конструкции: «Нужно было срочно уходить. Торопливо натянув на себя старую охотничью одежду друга и взяв немного денег, я выбрался через черный ход на улицу и, стараясь идти окольными путями, поспешил покинуть город. На окраине я уговорил одного крестьянина отвезти меня за небольшую мзду куда-нибудь подальше от населенных мест»².

Страх, от которого спасаются герои, становится двигателем авантюрного повествования, что особенно явно в первой части повести Оссендовского:

звери / В. Михаловский. — М.: Яуза, ЭКСМО, 2005. — С. 301-464.

¹ Бажов П.П. Собрание сочинений: В 3 т. / П. П. Бажов. — М.: Правда, 1982. Т. 3. С. 224.

² Оссендовский А. Люди, боги, звери / А. Оссендовский. — М.: Яуза, ЭКСМО, 2005. С. 29.

«Здесь, в глубоких сибирских снегах, меня и настиг промчавшийся надо всей Россией бешеный вихрь революции, который принес с собой в этот мирный богатый край ненависть, кровь и череду безнаказанных злодеяний. Никто не знал, когда пробьет его час. Люди жили одним днем и, выйдя утром из дома, не знали, вернутся ли еще под родную кровлю или их схватят прямо на улице и бросят в тюремные застенки так называемого Революционного комитета, зловещей карикатуры на праведный суд, организации, пострашнее судилищ средневековой инквизиции. Даже мы, чужие в этой охваченной смятением земле, не были застрахованы от преследований, и лично я неоднократно испытал их на собственной шкуре»¹.

Поиск «самого спокойного места» и в повести Бажова оборачивается множеством испытаний. Но оба автора подчеркивают «бытовой», сниженный характер авантюрного сюжета. Вот как об этом пишет Бажов: «Ничего яркого, бьющего в глаза в этой полосе жизни, Сибири, но мелочи были настолько показательны, что я решаюсь дать маленький кусок тогдашнего быта, по рассказам непосредственных участников»². А вот что сообщает Оссендовский: «Путевые записки свои я вел в очень краткой форме, не упоминая о времени и проходимых пространствах, потому что я и мои спутники, мы знали только два времени года — морозы и тепло, а пространства для нас не существовали, равно как и трудности переходов, потому что мы шли не для научных исследований и не для удовольствия, а спасали свою жизнь»³.

¹ Там же. С. 28.

² Бажов П.П. Собрание сочинений: В 3 т. / П. П. Бажов. — М.: Правда, 1982. Т. 3. С. 199.

³ Оссендовский А. Люди, боги, звери / А. Оссендовский. — М.: Яуза, ЭКСМО, 2005. С. 24.

Тихой пристанью для героев в одном случае становится поселение старообрядцев, в другом — лесная хижина. Но и персонажи, и формы описания достаточно однотипны. Например, повторяются описания «темных людей» — крестьян, особенно интересные у Бажова:

«Приходит бергульский поп. Толстоносый седой старик с бегающими глазами.

Одет в меховое полукафтанье, в руках шапка из бурой лисицы. Речь ласковая, «с подходцем». Начинает издалека.

— Живем в темном месте. Всего боимся.

Расспрашивает о дороге, о квартире. Потом опять:

— Всего боимся. Темные люди. Старину-матку держим, а как по-хорошему ступить, не знаем»¹.

Важный персонаж в двух повестях — «дух леса», медвежатник. У Бажова это «третий, которому в дверях тесно. Это брат хозяина Андрей — лучший медвежатник и ложечник в селе. Веселый человек, который начинает знакомство вопросом:

— Может, у вас покурить есть, восподин учитель?

Для Кирибаева это больной вопрос. Третий день уже он не курит. Дорогой купить было негде, а в Бергуле достать оказалось невозможным. Узнав, что табаку нет, Андрей оживленно говорит.

— Так я же свой принесу. Изрубим здесь. Он поспешно уходит и скоро возвращается со свертком каких-то половиков. В свертке мокрая махорка. Ее сушат над теплухой. Рубят топором...»²

У Оссендовского — Иван, «высокий статный мужчина. Меховой тулуп делал его крепкую фигуру еще массивнее, на голове торчала лихо нахлобученная папаха. Винтовка была нацелена прямо на

¹Бажов П.П. Собрание сочинений: В 3 т. / П. П. Бажов. — М.: Правда, 1982. Т. 3. С. 231.

² Там же. С. 228.

нас; за поясом, как водится у сибиряков, торчал острый топор. Его глаза, цепкие и горящие, как у дикого зверя, перебежали с одного на другого. Стянув с себя шапку, он перекрестился и спросил:

— Кто здесь хозяин?

Я ответил.

— Переночевать тут можно?

— Конечно, — ответил я. — Места на всех хватит. Пейте чай. Он еще не остыл»¹.

Появление этого «лесного духа» неразрывно связано с мотивом угрозы и смерти: «Я разжег в печи огонь и стал варить похлебку, не переставая вслушиваться в шорохи за окном. К этому времени мне уже стало ясно, что смерть бродит рядом и в любой момент может предстать предо мной в обличе человека или зверя, обернуться холодом, несчастным случаем, болезнью. Помощи мне ждать неоткуда, остается только уповать на бога и полагаться на собственные руки и ноги, здравый смысл и точный расчет»².

У Бажова смерть вступает в свои права в финале, когда в последний раз звучит заглавный лозунг:

«Веселый медвежатник Андрей погиб в первой же стычке. Случайная пуля пробила ему темя как-то сверху. Сразу свалилось огромное, могучее тело. Не успел даже повторить перед смертью свой постоянный призыв:

— За советскую правду!

Тяжелый отцовский бердан перешел к сынишке-подростку»³.

Еще исключительно любопытен в обеих повестях мотив подделки документов¹. Оссендовский сосре-

¹ *Оссендовский А.* Люди, боги, звери / А. Оссендовский. — М.: Яуза, ЭКСМО, 2005. С. 30.

² Там же. С. 32.

³ *Бажов П.П.* Собрание сочинений: В 3 т. / П. П. Бажов. — М.: Правда, 1982. Т. 3. С. 239.

дотачивается на авантюрном потенциале, который открывается в связи с введением темы «фальшивок»: «...я послал надежного человека к моим друзьям в Красноярске, которые тут же переправили мне белье, обувь, деньги, аптечку первой помощи и, самое главное, паспорт на другое имя: отныне для большевиков я умер»².

Бажов обстоятельно описывает подделку: «Есть и другое удостоверение: на имя Кирибаева — торгового агента по закупке товаров для кооператива. Удостоверение хорошее. Напечатано на машинке. Номер, печать с двумя руками, три подписи. Только полагаться на него все-таки нельзя. Подписи плохо сделаны. Да и мало одного удостоверения. Опыт показал.

В Омске Кирибаев пытался с этим документом остановиться поискать своих, — так еле выбрался»³.

Конечно, перечень совпадений может быть объемным, но интересно не это. Несостоятельность документа толкает к фольклору как хранилищу единственно несомненной истины, неоднозначность политической ситуации вынуждает обра-

¹ Именно с подделкой документов связаны яркие страницы в биографии Оссендовского — он является автором «документов» о финансировании немцами партии большевиков (*Старцев В. И.* Немецкие деньги и русская революция: Ненаписанный роман Фердинанда Оссендовского / В. И. Старцев. — СПб.: Скарабей, 2001). О роли истинных и подложных документов в биографии Бажова тоже написано немало: См.: *Осипова А.* Самого знаменитого писателя Урала обвинили в махинациях со стажем. Текст: электронный. Режим доступа: URL: <https://www.oblgazeta.ru/society/30923/> (Дата обращения — 10.01.2020).

² *Оссендовский А.* Люди, боги, звери / А. Оссендовский. — М.: Яуза, ЭКСМО, 2005. С. 46.

³ *Бажов П.П.* Собрание сочинений: В 3 т. / П. П. Бажов. — М.: Правда, 1982. Т. 3. С. 206.

щаться к прошлому и к вечным истинам. В настоящем все слишком зыбко и сомнительно, как показывает хотя бы «Спор о стихах», пример совершенно иной, уже вовсе не авантюрной организации авантюрного сюжета. Даже географические названия не имеют однозначной трактовки: «Часть бора против юго-западной окраины Камышлова зовется Бамбуковкой. Почему Бамбуковкой — этого никто не скажет. Может, просто какой-то шутник хотел отметить, что здесь допивались до “бамбукового” положения — не встанешь. Может быть, и другое: рослый камыш по берегам заболоченной старицы Пышмы сравнивали с бамбуковыми зарослями»¹.

В искусстве и политике однозначные толкования тем более невозможны, на этом строится внутренний драматизм почти бессюжетного фрагмента Бажова. Сходная ситуация акцентируется в тексте Оссендовского: «Проходимые местности я называю так, как слышал от туземцев, которые часто одно и то же место называли разными именами, в зависимости от своего племенного происхождения»².

Повесть Оссендовского не оканчивается обретением идеального убежища, приходом белых или торжеством справедливости — вместе с отрядом барона Унгерна герой находит спасение в Агарте: «Наконец мы выбрались из лесов и вступили на бескрайние просторы Минусинской степи, усеянной множеством соленых озер и пересеченной высокой грядой гор Кызыл-Кайя. Это край великого множества могильных надгробий, больших и малых дольменов, памятников бывшим властелинам земли: здесь воздвигали десятиметровые каменные изваяния Чингисхан, а позднее и хромой Тамерлан — Тимур. Тысячи дольменов и каменных фигур

¹ Там же. С. 301.

² *Оссендовский А. Люди, боги, звери / А. Оссендовский.* — М.: Яуза, ЭКСМО, 2005. С. 27.

тянутся к северу бесчисленными рядами. В степи сейчас живут татары. Большевики основательно пограбили их, и потому они особенно пылко их ненавидят»¹. Далее герой попадает в волшебное царство, где встречается с живым Буддой, провидит будущее и становится свидетелем множества чудес.

Но до этого в первой части повести Оссендовского возникают описания рудников и легенды о богатствах, спрятанных старателями. Но рудники уничтожены большевиками², а старателей истребляет «лесной дух» Иван³. В мире, из которого при-

¹ Там же. С. 52.

² «Наш путь пролегал через рудник, когда-то оборудованный по последнему слову техники, теперь же являвший собой весьма жалкое зрелище. Большевики повывозили отсюда все, что только смогли: оборудование, запасы продовольствия, — частично разобрали и отдельные строения. Поодаль мрачно темнела обесчещенная церковь: окна выбиты, крест сброшен, часовня сожжена. Печальный символ сегодняшней России. Семья оставшегося на прииске сторожа влачила полуголодное существование, живя в постоянном страхе и лишениях. По их словам, в лесах рыскала красная банда, промышленявшая на покинутых рудниках. Бандиты добывали понемногу и золотишко, выменивая его в деревнях на самогон — крестьяне на свой страх и риск гнали его из ягод и картофеля» (Оссендовский А. Люди, боги, звери / А. Оссендовский. — М.: Яуза, ЭКСМО, 2005. С. 58)

³ ... нашел он золотую жилу и разбогател. А позднее стало известно, что его убили вместе с женой... — Иван помолчал с минуту и снова продолжал: — Мы сейчас находимся в его хижине. Здесь он жил вместе с женой и где-то неподалеку на реке добывал свое золотишко. Никому не говорил — где. Крестьяне в округе знали, что у него в банке полно денег и что он продает золото правительству. Здесь их и убили. Иван подошел к печке, вытащил горящую головешку и, подавшись вперед, осветил пол. — Вот они, эти пятна крови на полу и на стене. Это их кровь, Гавронских. Так они и не сказали, где золото. До-

ходится бежать, торжествует зло; однако спасение возможно в идеальном пространстве Агарты.

Бажов продолжения «истории бегства» не пишет — и спасение оказывается возможным не в ином пространстве, а в ином времени, в фольклоризованном мире прошлого; вместо задуманных далее автобиографических повестей появляются фольклорные сказы. Тема «спасения от ужаса» в сказах Бажова развита в специальной работе¹. А в тексте Оссендовского фольклорные сюжеты развиваются во 2-4 частях автобиографической истории. А Бажов изменяет оптику повествования и от автобиографической повести переходит к сказу, в авантюрной повести Оссендовского автобиография и легенды взаимосвязаны.

Зооморфные мифологические образы, как и в сказах Бажова², восходят у Оссендовского к пермскому звериному стилю: «Хутухта Джелиб рассказал мне много подробностей о странных животных, когда-то живших на этих континентах: о черепахах с восемью парами лап, об огромных безвредных змеях, пригодных в пищу, о зубастых птицах, о гигантских ящерицах...» Особенно интересно, что последовательная мифологизация животных образов в последней части повести находится в явном

бывали его из глубокого шурфа на берегу реки и хранили в погребе под сараем. Ни слова не вымолвили... А как я пытал их... Боже, как я их пытал! Поджаривал на медленном огне, выкручивал пальцы и наконец выдавил глаза. Все зря. Отдали богу душу, ничего не сказав. Немного подумав, он быстро добавил: — Эту историю я слышал от крестьян» (Там же. С. 36).

¹ Липовецкий М. Зловещее в сказах Бажова / М. Липовецкий // Quaestio Rossica. – 2014. – № 2. – С. 216-220.

² Иванов А.В. Угорский архетип в демонологии сказов Бажова. Режим доступа: URL: <https://shakko.wordpress.com/2016/10/20/угорский-архетип-в-демонологии-сказо/> (Дата обращения: 10.01.2020)

противоречии с демифологизацией «хозяина тайги» в начальных главах. Медведь у Оссендовского — не только властелин леса, но и нечто бесконечно низшее: он «...принадлежал, видимо, к тем медведям, которых зовут “муравьедами” — выродками из семейства этих благородных животных. Я знал, что “муравьеда” легковозбудимы, свирепы, и потому стал готовиться и к обороне, и к нападению»¹.

Легко объяснима и гибель «хозяина», и превращение «хозяина леса» в отбивную: «Неплохо получались у меня и гамбургские бифштексы, которые я сворачивал и жарил на раскаленных камнях. Постепенно они набухали, превращаясь в большие шары, а по вкусу не уступали тому нежнейшему суфле, какое мы, помнится, едали в петроградском ресторане “Медведь”»².

Итак, герой Оссендовского продолжает путешествие — и оказывается в волшебном мире; герой Бажова путешествие прекращает — и автор прибегает к другим жанровым моделям, уходя от мистики к фольклору. Нельзя не отметить и еще одно любопытное сближение. В последние годы жизни Бажов создает «Сказы о Ленине», сближая политическую реальность и фольклорные сюжеты. Популярнейший польский писатель, автор романов и путевых очерков об экзотических странах, А.Ф. Оссендовский в начале 1930-х пишет книгу, с которой его имя и связывается в сознании сегодняшних читателей, книгу, за одно упоминание о которой в СССР грозил тюремный срок — «Ленин — бог безбожных»³, в которой биография вождя мирового пролетариата изложена сквозь призму мифа об Антихристе. И творческие биографии ав-

¹ Оссендовский А. Люди, боги, звери / А. Оссендовский. — М.: Яуза, ЭКСМО, 2005. С. 44.

² Там же.

³ Оссендовский А.Ф. Ленин / А.Ф. Оссендовский. — М.: Партизан, 2006.

тора сказов Бажова и сочинителя авантюрных повестей Оссендовского содержат слишком много сближений, чтобы их можно было игнорировать.

Но в авантюрной прозе 1920-х есть немало сказовых элементов, которые также могут представлять исследовательский интерес. Достаточно обратиться к сборнику «Желтый мрак» (1927), посвященному революционным событиям. Здесь авторы, выступающие в поддержку революции, также обращаются к фольклорному сказу.

Так, главный герой повести Александра Сытина (1894-1974) «Желтый мрак», Будаи, видит сон, в котором к нему является старик и рассказывает сказку о хане и цирюльнике, который должен был хранить тайну хана. Сюжет связан с колодецем, куда нужно «прокричать тайну: «...только не забудь закрыть крышку. Иначе колодец не будет хранить твоего секрета. Он выбросит его назад. Берегись, чтобы он не выплеснул всю воду вместе с твоей тайной»¹. Цирюльник забывает закрыть крышку: «Ночью из колодца пошла вода, и мы с тобой теперь на дне моря»². Кажется, эта история о городе Кой-Сару далека от «Синюшкина колодца» Бажова. А между тем колодец как хранилище не только тайны, но и богатства, возникает в следующих главах повести Сытина, в истории об «отце контрабанды»; именно у колодца прячут свои сокровища контрабандисты, именно там они ждут смерти — и гибнут, не пройдя испытания. А «бессмертный» караванбаши описывается одновременно как «старый и молодой»³ — в точности как хранительница волшебного колодца у Бажова.

Как и во многих сказках Бажова («Золотые дайки»), в повести «Желтый мрак» мотив сновидения

¹ *Желтый мрак*: альманах приключений. — М.: Московское издательство писателей, 1927. С. 22.

² Там же. С. 23.

³ Там же. С. 24.

является одним из наиболее важных. Через сны главного героя мы можем наиболее точно понять его характер. «Сказовые» элементы в рассказе Будая значительны, но описания его сновидений — это некий «сказ в сказе», своего рода параллельный сюжет, минимально связанный с послереволюционными событиями. И эта множественность сюжетных линий, от которой избавляется Бажов, в авантюрной прозе, наоборот, подчеркивается. Хотя, несомненно, одна сюжетная линия является основной, а другие лишь помогают ее раскрытию. Такое же параллельное развитие «этнографического» и авантюрного сюжета мы наблюдаем в другой повести из сборника «Желтый мрак», также написанной участником гражданской войны, удмуртским писателем Николаем Ловцовым — «18 дней чумы».

Интерес вызывает обращение к сказовому повествованию еще одного автора авантюрной прозы 1920-х, на сей раз профессионального ученого, синолога Павла Васильевича Шкуркина (1868-1943), жившего в 1920-х годах в Харбине. Его «этнографические рассказы» были изданы в 1924 году. Да, они не посвящены Уралу и Сибири, это истории о хунхузах, но при воссоздании их быта и нравов автор использует некоторые сюжеты, аналогичные сказам Бажова. Например, мотивы «кровавого золота» и спрятанных сокровищ, старательские легенды и поверья становятся значимой частью цикла Шкуркина. Но об этом сближении «этнографического» и «авантюрного» стоило бы поговорить отдельно.

Сейчас же можно сделать следующий вывод:

Авантюрная проза 1920-х позволяет по-новому рассмотреть специфику творческой эволюции Бажова и увидеть, насколько логичен для него переход от автобиографических повестей о настоящем к сказам о прошлом. Приключенческие произведения о гражданской войне содержат те же мотивы

и комплексы мотивов, которые возникают в текстах Бажова. Некоторые сюжеты мы можем назвать бродячими, в некоторых случаях — говорить о знакомстве с общими фольклорными источниками. Но ученые и авантюристы, красные комиссары и повстанцы, обращавшиеся к литературному творчеству, сплетали сказочные элементы с автобиографическим повествованием. Здесь Бажов был не одинок — и рассматривать его произведения нужно в обширном литературном контексте.

Маргиналии

Путешествие без проблем

Offord, Derek. Journeys to a Graveyard. Perceptions of Europe in Classical Russian Travel Writing. Dordrecht: Springer, 2005. — XXVI, 287 pp. (International Archives of the History of Ideas. 192).

Писать об удавшихся книгах — легко. Писать об удавшихся филологических исследованиях — еще легче. Ведь задача рецензента в данном случае сводится к краткому обзору исследования и к рекомендации с ним ознакомиться. Однако труд Дерека Оффорда как минимум не заслуживает подобного рецензирования. Бесспорно, перед нами работа значительная и весьма интересная, легко и эффектно написанная, насыщенная материалом и его осмыслением, позволяющая поставить и филологические, и культурологические, и философские проблемы, объединяющая наработки классической филологии и новейшей истории идей. Вместе с тем работа дает повод обсудить не только состояние исследований «литературы путешествий», но и в целом состояние филологических экскурсов на сопредельные территории. Оффорд дает здесь немало возможностей — его многолетние исследования увенчались достойной монографией, в которой отношения России и Европы тонко высвечиваются в рамках анализа известных и малоизвестных текстов, созданных русскими литераторами-путешественниками, отправлявшимися на Запад в конце XVII — конце XIX в.

Оффорд рассматривает литературу различных эпох и различных представителей этой литературы: от Петра Толстого до Салтыкова-Щедрина, от Фонвизина до Достоевского. Исследователь не стремится выстроить схематичную концепцию, оторванную от реальной литературной жизни. Он

подчеркивает, что цели путешественников были различны, а в равной мере различались и отчеты о путешествиях. Толстой, путешественник из эпохи Петра Великого, писал для себя, Фонвизин — для семьи и близких, прочие авторы — для более или менее широкого круга читателей. Но авторы эти различны — и в эстетических, и в политических воззрениях — и ставить рядом их произведения можно лишь в одном случае: жанровые границы «путевых заметок» предполагают создание некоей общности, единого проблемного поля. В этом поле мы и оказываемся, следуя за развитием мысли Деррека Оффорда. Нельзя сказать, что мысль поражает оригинальностью — нет, в предисловии она сформулирована как будто нарочито бесхитростно. <...>

Для раскрытия специфики русской литературы путешествий следует обратиться к западным влияниям на русскую культуру, следует понять, что формирование национальной идентичности было процессом во многом вынужденным, следует признать, что русская элита в разных политических и культурных обстоятельствах опирается на заимствованные с Запада образцы, чтобы выработать в конце концов собственный взгляд на мир. Русским многое не нравится на Западе (и за примерами далеко ходить не нужно), но без европейского опыта добиться собственных целей формирующаяся интеллигенция не сможет.

Все вроде бы правильно, только выводы эти, высказанные в резкой и категоричной форме, несколько смущают. Можно расставить все акценты иначе: русские путешественники используют все, что видят на Западе, сравнивая европейский опыт с российским. Самостоятельной ценности вне этого сравнения путевой опыт не имеет. Литература путешествий потому и рассматривается как особый жанр, что сохраняет единое основание. Этой литературе нужны две крайние точки: исходная и

кульминационная. Путешествие совершается *откуда-то* и *куда-то*. И если нет «откуда», то какой смысл в «куда»?

Все это очень хорошо понимает автор книги. Рассмотрев во вводном разделе историю жанра путешествий, теорию конструирования национальной идентичности в этом жанре и особенности русской литературы путешествий, Оффорд посвящает восемь глав исследования Петру Толстому, Фонвизину, Карамзину, Погодину, Боткину, Герцену, Достоевскому и Салтыкову-Щедрину. Все очерки построены одинаково. Сначала речь идет о социальном и культурном контексте, в который попадают записки путешественника, затем говорится о месте произведения в творческой биографии автора, дается краткий анализ репрезентации европейской жизни в записках, говорится о методах проецирования европейского опыта на Россию и в заключение дается краткий вывод о роли путевого опыта конкретного автора в конструировании национальной идентичности.

Предельно логичное построение несколько не мешает автору; Д. Оффорд умело жонглирует цитатами и теоретическими концепциями, он дает резкие, подчас ироничные оценки опытам многих своих героев, а во многих случаях поддерживает путешественников собственными размышлениями. Биографические и исторические пассажи иногда представляются чрезмерно упрощенными; но помилуйте — как объяснить европейцу, не занимающемуся специально историей русской культуры, кто такой положим, В. П. Боткин, или в чем суть полемики о популизме в русской прессе 1869 года? Оффорд справляется со сложной задачей; книга читается с интересом: чего же еще?

Остаются все те же три группы вопросов; Оффорд дает на них интересные, но не всегда удовлетворительные ответы в коротком заключении. Слишком многое объясняется «возрастающей ам-

бициозностью русских» (253); путешественники слишком импульсивны, «они жаждут подвига», ограниченность западной цивилизации не удовлетворяет их. И в борьбе с упорядоченной Европой русские, отстаивая свое, готовы дойти до «самоуничтожения». Именно этим словом, как настойчивым предупреждением, завершается книга Д. Офффорда. Думается, все же содержание ее требует более значительных выводов. Но для этого нужно ответить на поставленные во введении вопросы...

Какое соответствие «формы» и «содержания» считает автор канонической для путевых заметок? Сухие отчеты Толстого и эмоциональные, оторванные от реальности филиппики Достоевского рассматриваются как эпизоды в развитии одного жанра. Правомерно ли это? И почему в качестве наиболее репрезентативных избраны эти восемь авторов? Почему письма Фонвизина привлекают внимание исследователя, а европейские письма Гоголя (тоже написанные «для друзей», но с расчетом на огласку) — нет? Почему отказывает автор в значимости запискам многих литераторам «второго ряда», почему не рассматривает журнальные корреспонденции (например, Г. П. Данилевского)? Иногда пренебрежение материалом прямо-таки мешает исследователю завершить логичное в целом построение. Например, на с. хх-ххi Офффорд рассуждает о путевых письмах «реакционного журналиста» Н. И. Греча, который выражал ту же политическую позицию, что и Погодин — поэтому «Путевые письма» Греча далее не рассматриваются. А между тем именно тексты Греча дают самый интересный материал с точки зрения формирования жанра путевых записок в русской литературе. <...> Этот сюжет я изложил¹, чтобы показать, мимо каких интересных коллизий проходит исследователь, стремясь охарактеризовать жанр, обращаясь

¹ См. статью о Н.И. Грече в настоящем сборнике.

лишь к творчеству «наиболее влиятельных» авторов.

Не все обстоит гладко и с интеллектуальной историей. Рассматривая идейные установки, которыми руководствоваться авторы путевых записок, легко поддаться гипнозу уже существующих ярлыков. И выяснится, что «политическая позиция Анненкова близка взглядам его друга Боткина» (xxi). Но основу «Парижских писем» составляет резкое осуждение буржуазной культуры и образа жизни. Анненков обращается к «вопросам дня», пишет о на шумевших судебных процессах и театральных премьерах, но в основе этих описаний — осознание пустоты интересов европейского общества. Можно называть «Парижские письма» легковесными, отказывая им в серьезном содержании. Но самый выбор таких сюжетов путешественником уже о многом говорит: исчезает литература, исчезает нравственность, исчезает общественная жизнь... И вновь исследователь проходит мимо значительной проблемы, позволяющей объяснить идейную позицию многих русских авторов.

Если следовать законам интеллектуальной истории, то в разряд путевых текстов попадут произведения, крайне важные для характеристики русской мысли, но к литературе путешествий в традиционном понимании вовсе не относящиеся. К примеру, в 1839 году М. Н. Загоскин (который упоминается в рецензируемой книге один раз как представитель «официальной народности») выпустил роман «Тоска по родине», значительную часть которого составляет описание путешествия главного героя по Англии, Франции и Испании. Загоскин, рассуждая о страданиях русского человека в чужих краях, смело изображает места, в которых никогда не бывал. Романист «по секрету» рассказывал М. А. Дмитриеву: «Купил раскрашенную

картинку с изображением какой-то улицы да по этой картине все и описал!»¹ И этим описаниям верили читатели: романист подтверждал их собственное «опасливое» отношение к чужим краям. Поэтому путешественнику совершенно не обязательно куда-нибудь ехать, если этого не желает читающая публика. «Фантастические» и «сатирические» путешествия А. Ф. Вельтмана, О. И. Сенковского и многих других авторов отражают крайне важную тенденцию в интеллектуальной жизни русского общества, формируя иллюзорный самодостаточный мир, в границы которого не могут вторгнуться вредные влияния извне. И обитателям этого мира нет нужды отправляться в реальную Европу, достаточно силы воображения... Такой ответ на европейский вызов Д. Офффорд всерьез не рассматривает, а между тем именно подобное отношение к европейской культуре сохранялось в значительной части русского общества до конца XIX столетия.

Третья группа вопросов, поставленных автором, тоже не имеет однозначного решения. Вернее, оно подсказывается заглавием рецензируемой книги. Русский, отправляющийся в Европу, едет, чтобы побродить среди могил. Запад для него изначально представляется мертвым или умирающим. Путешественник может с негодованием писать о буржуазии (как Фонвизин и Герцен), восхищаться жизнью на лоне природы (как Карамзин и Боткин), размышлять о «безбожном» прогрессе и религиозной «отсталости» (как Погодин и Достоевский), но в основе его позиции — всегда ощущение собственного превосходства. Осознание национальной идентичности становится простым и грубым: Европа умирает, а Россия готовится жить... Отсюда странное чередование оптимистических и

¹ *Дмитриев М. А.* <Воспоминания о М. Н. Загоскине> // Загоскин М. Н. Москва и москвичи. М.: Московский рабочий, 1988. С. 563.

пессимистических фрагментов в большинстве путевых текстов, скептическое отношение к самым ярким и интересным сторонам европейской жизни, сомнения и в европейском консерватизме, и в европейской революционности. Д. Оффорд не стремится объяснить всю проблему с помощью одной только метафоры. Он одновременно прав и не прав. Прав потому, что проблема глубже и сложнее. Неправ — потому, что из-за отсутствия единого объяснения вторая половина исследования кажется более рыхлой и менее обязательной. Мы уже знаем, что не получим ответа — и больше его не ждем. А герои книги продолжают верить в великое предназначение своей страны и, даже утрачивая веру, как видно в главах о Герцене и Салтыкове, пытаются вернуть читателям ощущение «больших надежд» (248).

Как видим, литература путешествий не позволяет исследователям создавать примитивные конструкции — в истории жанра, в рамках интеллектуальной истории и в рамках концепции идентичности. Дерек Оффорд предложил читателям своей работы, избегая простых решений, осмыслить реальную сложность передвижения из пункта А в пункт Б. Путешественник пересекает границы и преодолевает препятствия. Одно только понимание этого может стать основанием для некоторого оптимизма. У исследований литературы путешествий — большое будущее. В книге Д. Оффорда сделано многое для того, чтобы это будущее стало реальностью. А что до ответов на вопросы... Судя по всему, осмысление поездки в Европу как «путешествия на кладбище» в XIX веке было несколько преждевременным. А значит, время у нас еще есть...

«Другой Восток»

Thomas McLean. The Other East and Nineteenth-Century British Literature. Imagining Poland and the Russian Empire. NY: Palgrave MacMillan, 2012. xii, 203 p.

Книга Маклина посвящена не литературе путешествий, как можно было бы подумать, а литературе воображения. В этой работе рассматривается весьма специфический образ «Востока»: Российская империя и Польша предстают воплощением Иного. Британские авторы отходят от стереотипного представления о славянах-рабах (до начала XIX столетия подчеркнутого совпадением «slave» — «slav») и обращаются к осмыслению более-менее известного, понятного. Тем самым «пограничный Восток» становится основой для еще одной имагологической реконструкции «ситуации предела», как географического, так и политического.

Историческая канва работы достаточно очевидна: польские восстания 1831, 1846, 1848 и 1863 гг. «позволили британским художникам и писателям вновь и вновь возвращаться к печальному наследию Станислава II и Тадеуша Костюшко, создавая новые, но странно узнаваемые польские характеры» (1). Работа посвящена анализу этих характеров и трансформации изображения польско-русских отношений в английской литературе. Книга открывается обзором репрезентативных восточно-европейских персонажей (вымышленных и исторических), возникающих в романтической и викторианской культуре. Первый из таких «антигероев» — Екатерина Великая; на другом конце линии — «полукровки» польского происхождения, очень часто возникающие в викторианских текстах, но основу составляет наиболее важное прояв-

ление британского интереса к Восточной Европе в XIX столетии: «меняющийся образ польского изгнанника» (2).

Томас Маклин основывает работу на концепции «воображаемых сообществ» Б. Андерсона; представление себя как части нации может привести к любопытному пониманию особенностей этой нации. Тот же культурный феномен в данной книге рассмотрен на литературном материале.

Маклин подчеркивает недостатки предшествующих имагологических исследований на русском материале, впрочем, в достаточно обтекаемой форме: он указывает, что характеристика огромного массива путевых текстов «сводит значение исторических событий к незначительной модификации раз и навсегда установившихся воззрений» (с. 11). Между тем в англоязычных текстах после «открытия» и «изобретения», характерных для репрезентации России и русских в XVIII столетии, настает время «силового поля» (с. 95). Могущество России (и угроза Европе) и представление о «русском влиянии» на весь континент как раз связано с разделом Польши, спровоцировавшим весьма масштабные дискуссии. При этом Маклин резонно отмечает, что для понимания европейского восприятия русско-польских отношений важны и дополнительные коннотации, например, очевидная для англоязычного мира ассоциация «Польша — Шотландия»; романтики, тесно связанные с Польшей, являются шотландцами по происхождению (например, Томас Кэмпбелл и Джейн Портер, творчество которых Маклин рассматривает подробно).

Центральное место в монографии занимает создаваемый в литературе и живописи образ Т. Костюшко, «нового представителя поляков как отважных, но потерпевших поражение людей <...> основу этого образа заложили тексты, связанные с визитом польского генерала в Лондон в 1797 году» (с.

б). С судьбой Костюшко связаны так или иначе большинство рассматриваемых текстов.

«Другой Восток» — это и Россия, и Польша, рассматриваемые вместе: экзотические, но имеющие огромное политическое и историческое значение. Россия в таких текстах предстает «имперским двойником Англии», Польша «выдерживает сравнение с Британской Индией» (9). Заметный англоцентризм работы в целом (и отдельных аналитических фрагментов) вполне понятен: имперский дискурс XIX столетия виртуозно вписан в систему постколониальных ценностей XXI века, и новозеландский исследователь Маклин озабочен не столько деталями конфликта, сколько вниманием, уделяемым конфликту в британской прессе. Интересен не столько польский изгнанник, сколько идеальный эмигрант, не столько русский «захватчик», сколько представитель иной империи.

Монография выстроена в рамках жесткой хронологии, из-за этого в книге слишком много исторических экскурсов, часто излагаются общеизвестные факты (биография Екатерины II или история Крымской войны). Иногда кажется обидным, что автор не прослеживает отдельные сюжеты на материале всего столетия, а строго фиксирует череду историко-литературных эпизодов. Однако сами эпизоды настолько занимательны, что представляются самодостаточными.

Так, «мужские» притязания Екатерины потрясли воображение англичан; в первой главе Маклин показал, что британская симпатия к Польше неразрывно связана с враждебным отношением к русской императрице; русофобские карикатуры и памфлеты преобладают и в начале XIX столетия/ «Загадочный» текст Уильяма Бэйка «Европа: пророчество» получает соответствующую интерпретацию в русле политической конъюнктуры.

Точно так же, как Екатерина убедила правителей Пруссии и Австрии объединиться с ней против

«польского якобинства», Энитармон взывает к Ринтре и Паламброну, защищая свою тиранию. В поэме Блейка Польши нет — она уже уничтожена и становится «исчезающей фигурой»; Екатерина, напротив, присутствует, но это присутствие зашифровано (причин столь сложных маневров — от выбора странных имен до тончайших намеков — Маклин не объясняет). Императрица и в карикатурах, и в стихах — сила зловещая, явственно противостоящая Британской империи. Конечно, дальнейшая эволюция образа Екатерины в английской литературе весьма интересна (например, развертывание «польского» сюжета в первой английской истории Российской империи, созданной в самом начале XX века Г. Х. Манро, более известным как Саки), но актуальность образа — важнейший элемент имагологии. Посему во второй главе Маклин переходит к восстанию 1794 года и оценке Костюшко в английской литературе; формальные новшества здесь оказываются тесно связаны с содержательными. Иногда исследователь впадает в явное преувеличение, например, доказывая, что в сонете Кольриджа «Коскушко» <!> (1794) «используются замысловатые синтаксические конструкции, чтобы передать сложности европейской политики» (с. 45 и далее). Гораздо убедительнее анализ портретов Костюшко. Так, на картине Бенджамина Уэста (1797) раненый генерал окружен символами войны и революции; тем самым выражается преклонение перед героем и одновременно — вызов обществу, которое восхваляет революционера лишь после его поражения. Однако в дальнейшем художественные тексты демонстрируют изменение ракурса: от поддержки революционеров вообще к личной симпатии. В «Радостях надежды» Томаса Кэмпбелла (1799) автор как бы дистанцируется от изображаемого: польский вопрос сопоставляется с работорговлей в Африке и колонизацией Индии. Географическому удалению соответствует и поли-

тическое: польский революционер становится условной патетической фигурой.

В третьей главе («Герой между жанрами») рассматривается роман Джейн Портер «Таддеуш из Варшавы»; романистка манипулирует и историческими данными, и романскими канонами, создавая идеализированного, «безопасного» польского героя. Вымышленный Таддеуш Собеский — не столько революционер, сколько защитник древних европейских династий. Галантный поляк — идеальный персонаж чувствительных романов; реальность может быть сколь угодно враждебной к подобным персонажам, в литературе они занимают подobaющую нишу.

Любопытное столкновение двух образов изгнанников рассматривается в четвертой главе. Ли Хант в своем сонете «К Костюшко» изображает человека, обретшего славу в чужой стране. В «Мазепе» Байрона главный герой — тоже польский изгнанник. Положение Мазепы «между Петром Великим и Карлом XII сопоставимо с положением Костюшко — между царем Александром и Наполеоном» (с. 109). Однако предпочтение отдается не грозному солдату, а усталому дипломату — созданный Байроном образ не получает широкого распространения.

После 1830-го года оценка польских эмигрантов постепенно меняется, они воспринимаются как угроза британскому и европейскому порядку; эта, по терминологии Р. Уильямса, «негативная идентификация» (с. 13) подтверждается анализом текстов Мэри Шелли, Альфреда Теннисона и других авторов первой половины XIX столетия. Место поляков в какой-то степени занимают черкесы, тоже жертвы русского империализма. Однако движение на юг и движение на запад все же различны. Первое связано с удалением от Британской империи, второе — напрямую сталкивается с ее интересами. Потому и отклики на кавказский конфликт — такие, как «The Star of Attéghéi» («Звезда Адыгеи»)

Фрэнсис Браун (1844) — оказываются периферийными. «Браун ассоциирует борьбу черкесов за независимость с восстаниями в Польше и Ирландии; среди героев произведения — польский солдат, явно созданный по примеру «Таддеуша из Варшавы», и ирландский менестрель» (с. 14). Это единение наций в борьбе за свободу — скорее утопия, чем представление о реальных событиях.

Романтический стереотип сменяется образом эмигранта, активно вовлеченного в политическую деятельность. Так, в «Миддмарче» Джордж Элиот существенно видоизменила предшествующие репрезентации польского героя. Действие романа происходит в начале 1830-х, но Уилл Ладислав не только обаятелен, но и подозрителен: он «бунтовщик» и «чужак»; викторианские стереотипы в рамках одного текста преодолевают стереотипы романтические

В финале Маклин обращается к текстам Джозефа Конрада, в которых фигурируют поляки — здесь ситуация особая, поскольку поляк, писавший на английском, лишь дважды изображает своих соотечественников. Явные переключки повести Конрада «Князь Римский» с «За что?» Л. Н. Толстого остаются вне поля зрения исследователя; возможно, это связано с чрезмерной краткостью эпилога.

Важные пробелы исследования отмечает сам автор, исполняя задачу рецензента: в книге не рассматриваются религиозные проблемы — взаимоотношения католиков и иудеев мало занимали британских авторов. Кроме того, после 1870-х в действие вступают иные механизмы репрезентации русско-польских контактов, и их Маклин не рассматривает — имперское сознание меняется, и закономерности этих изменений на «польском» материале почему-то не видны.

А между тем уже Хорас Уолпол в конце XVIII столетия отмечал разницу между «коллективной виной» британцев, покорителей Индии, и индиви-

дуальной виной Екатерины, «великой узурпаторши» (с. 14). Ощущение коллективной вины становится после Крымской кампании всеобщим, разграничение провести не удастся — и поляки сливаются со множеством иных эмигрантов, попавших под пяту Империи, которая все ближе к джек-лондоновской «Железной пяте» олигархии. Эта «иная история» не менее занимательна, однако зловещие поляки из романов конца века (У. Ле Кье, Р. Кроми и др.) — такие же порождения олигархии, как бизнесмены сомнительного происхождения. Чтобы проводить границу, нужно существенно менять угол рассмотрения материала — но это в число благополучно достигнутых задач данной интересной работы не входит.

Нация кочевников

Kleespies, Ingrid. A nation astray: nomadism and national identity in Russian literature. Northern Illinois University Press, 2012. x, 242 p.

Название книги И. Клиспайс во многом объясняет и позицию исследователя, и развитие сюжета о «нации, сбившейся с пути». Поначалу выбор имен может озадачить: почему анализ номадизма связан с именами Карамзина, Достоевского, Чаадаева, Пушкина, Гончарова и Герцена (именно в таком порядке)? Впрочем, уже первые страницы убеждают и в серьезности сделанной заявки, и в значимости вопросов, на которые читателям предстоит отвечать вместе с автором: «Как идея русской идентичности воплотилась в образе бездомного странника <...>? Как сложился образ *русского* странника?» Почему «само путешествие воспринималось как важнейший элемент “русскости”»? (с. 5-6). Естественно, основное внимание уделяется не литературе путешествий как таковой, а соотношению «неясной» и «неопределенной русской идентичности» с западноевропейской (с. 5). Вполне логично, что открывает работу раздел о Карамзине и Достоевском: первый создал образ русского европейца в «Письмах русского путешественника», второй — продемонстрировал разрыв между интеллектуальными «русскими странниками» и народом, сначала в «Зимних заметках о летних впечатлениях», потом в речи о Пушкине. Так же логично, что завершается монография главой о Герцене, который «моделирует критику Европы в колониальных терминах» (с. 167), создаваемый им литературный образ наиболее радикален, а эмигрант-изгнанник становится показательным представителем русских европейцев.

Подобная структура драматизации соотношений русских и европейских идентичностей, кажется, вполне эффектна. Однако книга не производит ожидаемого яркого впечатления, и это легко объяснимо. Дистанция между Россией и Западом подчеркивается во всех текстах, которые рассматриваются в работе. Ощущение «удаленности» (awayness) приводит к тому, что «русские видят в себе “других”, выступают объектами наблюдения, а не субъективными наблюдателями» (с. 6) в своих собственных текстах; кочевники-номады живут «вне истории», они еще не принадлежат историческому миру. «Русские странники» (и это, по мнению автора, очевидно во всех травелогах), перемещаясь во времени и пространстве, не обнаруживают «приближения к истории». И ничего не меняется... Текст Достоевского при таком «до-историческом» прочтении оказывается переработкой текста Карамзина: «...русский путешественник постоянно находится за границей и не способен вернуться домой, он слишком европеец для России и слишком русский — для Европы» (с. 7). Таким образом, книга завершается тем же, с чего начиналась — номадизм не предполагает никаких изменений. В самом деле, в отличие от странника, номад — представитель социальной структуры особого рода, он не «удален из общества», его существование регулируется последовательностью перемещений. И тогда вполне логично предположить, что номадизм вполне статичен, что номады, по мысли Рональда Мика, находящиеся на второй стадии развития цивилизации, должны еще преодолеть «земледельческую» стадию, чтобы достичь апофеоза социальной структуры — коммерческого общества...

Только проблема в том, что коммерческое общество как раз и вызывает у предполагаемых «номадов» ужас и отвращение; а себя они предпочитают именовать «странниками» — отверженными, перемещающимися с места на место без всякой цели,

гонимыми судьбой. Да и у автора исследования определение «странник-путешественник» встречается едва ли не чаще, чем «номад». Обещанная в предисловии «эволюция идеи» в рамках заявленной парадигмы оказывается по большому счету невозможной. «Связь между письмом, путешествием и историей» (с. 20), особенно очевидная в «Путешествии в Арзрум» Пушкина, не может интерпретироваться как уход от «номадизма» — та же связь реконструируется и в тексте Карамзина, как было показано комментаторами...

В итоге перед нами серия очень интересных очерков, посвященных одной теме, но никак не создающих сюжетного единства. Два текста наиболее показательны: один как удачное развитие идеи, другой как неточная интерпретация исходных посылок.

Огромный интерес вызывает глава о Чаадаеве, в которой знаменитое философическое письмо становится поводом к обсуждению «романтической биографии» и темы отчуждения и бездомности в жизнетворчестве уникального автора. «Чаадаевское описание русских как вечных путешественников, не ведающих ни места назначения, ни пункта отбытия <...> является модификацией различных размышлений о цивилизации, истории и национальном сознании, актуальных в то время в Европе» (с. 52). Следует отметить, что «путешествие» касается не только географических, но и ментальных карт: «бесплодные заблуждения», о которых пишет Чаадаев, — вариант вечных странствий. Сомнительно, что написанный на французском текст предназначался нерусской аудитории (см. с. 55-57), однако сами формы описания национальной изоляции у Чаадаева соотносятся с европейской интерпретацией пространства; выбор верного пути связывается с идеологией Просвещения, и эти связи интерпретируются как поиск верного пути и «верной роли». Именно ролевой подход

обеспечивает особую убедительность данному разделу. От анализа письма Клиспайс переходит к анализу биографии Чаадаева — «возвращенца» (так назвал Чаадаева Дэвид Баджен), принимающего героическую позу, бегущего с Запада в 1826 году, чтобы остаться в России. Сама идея возвращения позволяет строго соотнести биографии Чаадаева и Чацкого; это не имеет прямого отношения к вопросу о прототипе грибоедовского героя, дело в ином... «Жизнь Чаадаева может быть прочитана как текст, как последовательность опытов, которые должны отразить и дополнить содержание *Писем*» (с. 79). Человек, живущий вне общества и говорящий «невозможные» вещи, разумеется, должен сознавать эту невозможность. В случае Чаадаева, может быть, о номадизме говорить и нельзя, но о «бездомности» как элементе национальной идентичности — можно и нужно. Романтических скитальцев, в самом деле, довольно много, а Чаадаев один. Ответ на вопрос о причинах его уникальности И. Клиспайс предлагает; нас может не устраивать избранная терминология, но в основательности общей установки сомнений не возникает.

Совершенно иная ситуация складывается в главе о Гончарове. Здесь рассматривается «Фрегат “Паллада”» — «отчасти травелог, отчасти развитие амбиций романиста» (с. 114). Исходная посылка проста: перед нами «кругосветное путешествие Обломова». Парадоксальный образ странствующего домоседа, вспоминающего о доме, определяет уникальность книги Гончарова. Конечно, привязанный к дому странник в пути будет страдать; но об уникальности страдающего русского путешественника, как делает автор монографии на с. 118, рассуждать не стоит. Достаточно вспомнить монографию Карла Томпсона «Страдающий путешественник и романтическое воображение»¹.

¹ См. о ней в статье «Туда и обратно...»

В Лондоне русский барин не просто тоскует и мечтает об усадьбе и слугах; путешественник, оказавшись вдали от дома, утрачивает его и никак не может отыскать вновь. Эта утрата места — исключительно важная характеристика данного этапа «номадизма»; она напрямую связана с моделью «нация-империя-пространство» (здесь исключительно уместны ссылки на работы Веры Тольц). Поиски дома и мечты о нем — одна из основных тем книги, в связи с ней автор обращается к идее «одомашнивания» Сибири у Гончарова, «превращения ее в знакомое пространство, населенное вечными русскими путешественниками» (116). Здесь поневоле начинаешь задумываться: в какой степени допустимо игнорировать биографические реалии ради создания непротиворечивой картины? Ведь Гончаров родился в Симбирске и провел там немало времени; для него дорога в Сибирь — как раз родная; возвращением по этому пути он и заканчивает книгу. Зачем «одомашнивать» дом? Зачем написаны позднейшие дополнения к «Фрегату “Палладе”»? Как изменение восприятия дома мотивирует появление новых «эпилогов»? Почему «путешествующий Обломов» обращается не к опыту заграничного странствия, а к опыту возвращения? Каково значение «номадизма» для позднего Гончарова? Об этом мы из книги не узнаем — и рассматриваемая глава оказывается не вполне убедительной, несмотря на интересные наблюдения (в частности, о значении глаголов «выехать» и «уехать» у Гончарова).

Эти упреки можно отнести и к заключению книги, где русский номадизм объясняется «влиянием монгольского прошлого» (с. 176). «Недостаток истории, укорененности, национальной территории и культуры» становится основным показателем номадизма, что предсказуемо приводит к «Скифам» Блока как итоговому выражению данной категории. «Вечный номад-странник воплощает русскую

идентичность <...> того, кто перемещается, теряет-ся, но продолжает писать <...> свой опыт и опыт нации» (с. 182). Вывод предсказуем, но в заданных рамках темы он вряд ли мог быть иным.

Есть в книге несколько странных утверждений: например, власти опасались народного восстания после смерти Пушкина (с. 1), поэму «Вечный жид» написал Александр Жуковский (с. 20), а Радищев покончил с собой «в знак протеста» (с. 69). Их список можно продолжать, но они напрямую не относятся к теме работы.

Потенциал у данной темы есть. Ведь представление о «русском странствии» явственно развивается — путешественник у Карамзина тесно связан с миром объектов, постепенно связи разрушаются (утрата «себя» у Чаадаева, утрата «места» у Гончарова). У Пушкина потеря абсолютизируется; он пишет не об утрате вещей и связей, а об утрате бытия — по крайней мере, так в монографии (с. 93-94) рассматриваются его поэтические тексты. А вот путешественник Достоевского «в мире-после-отъезда» (с. 39) ведет себя иначе — в основе его странствий не объективные впечатления, а поиск и анализ субъектов. Этим объясняется и бессюжетность «Зимних заметок...», и «исчезновение границ». Но все подобные описания уже не будут связаны с понятием «номадизм» — тем более что в современном контексте, после Делеза и Гваттари, с этим понятием связаны уже новые коннотации, о чем И. Клиспайс упоминает на последних двух страницах своей интересной, провоцирующей дискуссии, но явно не удовлетворяющей ожиданий книги.

Путешествия в Антарктику

Leane, Elizabeth. Antarctica in fiction: imaginative narratives of the far south. NY: Cambridge university press, 2012. xi, 250 p.

В книге Э. Лин рассматривается далеко не вся «антарктическая» литература. Рассматривая тексты последних трех столетий, автор исследования сосредотачивается на художественной прозе. Ряд авторов, на первый взгляд, вполне предсказуем и подбор имен не отличается оригинальностью: Э. А. по, Дж.Ф. Купер, Ж. Верн, Г.Ф. Лавкрафт, У. К. Ле Гуин, Б. Бэйнбридж, К. С. Робинсон. Как видим, преобладает в списке научная фантастика, хотя находится место и триллерам, и комиксам, и литературе ужасов, и романам о затерянных мирах... Привлекаются воспоминания путешественников и их литературные сочинения. Как ни странно, Антарктика предстает отнюдь не фантастическим континентом и не «призрачным миром». «Пространство воображения» тесно связано с реальным пространством — и в описании весьма любопытных связей следует видеть основную заслугу этой работы.

Антарктида не изображается в литературе как нечто «вещественное»; можно даже сказать, что этот континент не изображается вообще; речь идет об описании пустоты, об «интерпретации белизны» (с. 1). Невозможно вести речь об этом континенте с позиций «environmental writing» или «экологического письма». В первой главе работы Э. Лин показывает, что для ученых этот континент — своего рода палимпсест, ледовый архив естественной истории, а для писателей — воплощение неполноценности литературы и человечества в целом.

Лин весьма решительно полемизирует с предшественниками, особенно со Стивеном Пайном, автором монографии «Ice» (1985). Пайн обращался к тем же самым текстам — но пришел к выводу об отсутствии антарктической литературы. Для него Антарктида — «пустырь литературы», после Кольриджа, По и Купера «вселенная льда» обратилась в неподвижную, головную конструкцию, не представляющую для филолога интереса.

Но Лин описывает периферию как центр, «маргинальный» Южный полюс становится основой для целого ряда смысловых построений, трансформирующих тексты. «Даже когда Антарктика кажется маргинальной для литературного текста <...> упоминание континента привносит в текст новые смыслы, которые в свою очередь создают новые контекстные ряды» (с. 4). Правда, описание этих рядов оказывается несколько прямолинейным. Лин демонстрирует материалистический подход к «криэтив райтинг» — возможность посетить Антарктиду становится основой для развертывания антарктического текста, не только количественно, но и качественно.

Рассуждения об «антарктической литературе» позволяют по-новому поставить вопрос о «единстве» локального текста — даже в одном произведении сталкивается множество противоречивых версий одного пространства. Здесь Лин опирается не только на собственные интерпретации сочинений полярных исследователей, но и на виртуозный анализ НФ-романа У. К. Ле Гуин «Левая рука тьмы» в работах Фредрика Джеймсона. Планета вечных льдов в романе Ле Гуин сконструирована по образцу Антарктиды; литературная символика мира льда противопоставлена другой крайности — символическому миру тропиков. Впрочем, намеченный Джеймсоном путь не получает, как мы увидим ниже, необходимого развития в книге Э. Лин.

Зато очень плодотворным оказывается подход к проблеме пространственного описания с точки зрения культурной географии. Здесь Э. Лин опирается на исследования Йи-Фу Туана, в частности на работу «Пустыня и лед: амбивалентные эстетики» (1993). Вслед за Туаном она выделяет три типа пространства: «домашний мир», «домашнее пространство» и «чужое пространство». Естественно, в Антарктиде «чужое» велико, а «домашнее» — исчезающее мало. И выход за пределы «дома» представляется смертельно опасным. Вроде бы тогда направление исследований представляется вполне очевидным: определение границы и ее постепенное расширение.

И тут работа Лин неожиданно становится особенно интересной. Трудно определить не столько границы «домашнего пространства», сколько (если речь идет о художественной литературе) границы Арктики и Антарктики: некоторые критики помещают действие классической повести Джона Кэмпбелла «Кто там?» («Нечто») на север, другие — на юг планеты.

Арктика ближе, населеннее, понятнее — к началу XX века она перестает восприниматься как «чужое пространство». С Антарктикой этого не происходит даже в эру прогресса. В общем, выходит, что любая теоретически ограниченная модель для интерпретации «полярного» материала окажется недостаточной. Используя элементы вышеназванных подходов, свое исследование Лин выстраивает не на основе теорий, а на основе нескольких сюжетных блоков, типов характеров и мотивов, повторяющихся в литературе об Антарктиде. На основе этого и выделяются шесть глав книги.

Если С. Пайн считал отчеты путешественников подлинной литературой об Антарктиде, то Лин его опровергает: важен не реальный континент, а «грезы о нем» (с. 18). Эти грезы могут повторяться, могут исчезать очень быстро, а потом возвращаться, могут даться на протяжении столетий — поэтому

строение основной части монографии трудно назвать линейным.

В первой главе рассматриваются ранние мифы и легенды о Южном континенте, о невиданном месте, о необычайных существах и природных феноменах. Рассматриваются и работы греческих философов, и средневековые суеверия, и утопии, и «материалистические описания» возможных вариантов колонизации. Все это — только основа будущей литературы, но не сама литература.

Во второй главе речь идет о готической традиции в литературе об Антарктиде — от ранних романтиков до новейшей литературы ужасов. Метафорическое «дно мироздания» оказывается адом земным, где рождаются чудовища и воплощаются самые страшные кошмары. Артура Гордона Пима от героев фильма «Послезавтра» (2004) отделяет не такое уж большое расстояние. Рассматривая поэтику «телесного», исследовательница вполне логично проводит параллели между мертвыми неподвижными телами готических героев — и непрерывно меняющимся телом континента, рельефом антарктического льда.

Столь же метафоричны рассуждения об эре героев, о подвигах Скотта и Амундсена, занимающих центральное место в антарктической литературе XX века. Лин сосредотачивается на одном эпизоде героической истории — самоубийстве капитана Лоуренса Оутса, который вышел на смерть из палатки во время экспедиции Скотта; художественные переработки события трансформируют исторический эпизод; трагедия становится героической.

Но подвиг совершается — и наступает черед «изоляции», когда речь идет не об Антарктиде, а о *событиях, происходящих* в Антарктике. Здесь голод физический сменяется голодом интеллектуальным, своего рода эрзац-пищей становятся отчеты исследователей, газеты, которые они выпускали на полярных станциях, стихотворения и рассказы.

Может показаться, что чрезмерное внимание уделяется не самому важному материалу; но суррогат остается суррогатом, и в истории антарктической литературы этот этап весьма важен.

Опыт встречи с Антарктидой может стать как травматическим, так и целительным; дело не только в контакте с «дикой природой», но и в очищении, обновлении человека, на котором концентрируются «реалистические антарктические романы» (28), которым посвящена вся пятая глава. Любопытно было бы проследить параллели между романами о Южном полюсе и другими подобными «робинзонадами» (вплоть до недавнего «производственного» романа Э. Вейера «Марсианин») — вне этого контекста рассуждения Э. Лин о «пасторали» и «субъективности» кажутся несколько недостаточными.

Впрочем, в последней, шестой главе автор обращается к мотиву «сохранения», каковой несомненно присутствует в антарктической литературе на протяжении трех веков. Лед убивает — и он же навеки сохраняет неизменным людей и объекты; сюжеты о «замороженном времени» в рассматриваемых произведениях воспроизводятся слишком часто, чтобы не обращать на это внимания. Не следует ограничиваться романами о «затерянных расах»; но далее сюжет о капитане Оутсе, который выходит из палатки в далекое будущее, интерпретируется как специфически «антарктический», что как минимум неверно — в самом известном рассказе на эту тему («Человек, который шел домой» Дж. Типтри-мл.) действие происходит отнюдь не в Антарктике. Но в целом «аномальные» отношения пространства и времени в литературе о Южном полюсе действительно уникальны. Уникален и опыт анализа текстов о «ледяном континенте».

Конечно, очевидны и пробелы, в первую очередь связанные с отбором материала — Э. Лин сосредотачивается на англоязычной литературе. Поэтому нет ничего удивительного, что не упоминается

книга Е. Головина «Приближение к Снежной Королеве», тесно связанная с данной темой. Но нет и упоминаний о бельгийской полярной литературе, в которой связь Северного и Южного полюса постоянно подчеркивается (Жан Рэй, Томас Оуэн). Нет упоминаний об одном из главных романов XX века, посвященном ужасам далекого Юга, в котором полярная мифология весьма значима («Медуза» Э. Х. Визиака), нет ни слова, положим, об «Ужасах льдов и мрака» популярного в России Кристофа Рансмайра, а в его книге тоже немало страниц посвящено полярной системе «эстетических координат».

Не удалась и кода — в заключении монографии рассматривается роман Майкла Чабона, известного постмодернистского литератора, смешение всех клише антарктического текста. В этом Э. Лин видит подтверждение тезиса, что антарктическая литература не исчерпана, а тематическое разнообразие ее сохраняется. Читатель же замечает несколько утомительный и балаганный характер такого «сопряжения всего» — всех литературных традиций, всех сюжетов, всех историй. С тем же успехом можно говорить, положим, об «оживлении мифа о стране Оз» в романе Грегори Магвайра «Ведьма»; на самом деле Магвайр мифологию Баума просто хоронит.

Боюсь, как раз стремление собрать под одной обложкой «все мотивы», отказавшись от единой модели интерпретации, в конечном итоге сыграло с автором дурную шутку: доказательство реальности антарктической литературы не сложилось не потому, что литературы нет, а потому, что нет убедительной модели аргументации...

Но никакие снежные бури не уничтожат уникальный ландшафт Антарктиды. И отдельные детали этого ландшафта сотворены в тех книгах, о которых Э. Лин написала весьма любопытную монографию. А что до пробелов — на всякой карте должны оставаться пустые пространства...

Инвентаризация колониального хозяйства

Э.Ф. Шафранская. *Туркестанский текст в русской культуре: Колониальная проза Николая Каразина (историко-литературный и культурно-этнографический комментарий)*. СПб.: Свое издательство, 2016. 370 с.

В эпоху расцвета постколониальных исследований все обращения к колониальной литературе волей-неволей становятся обобщениями — опыта, истории, быта, философии и культуры. Книга Э.Ф. Шафранской посвящена творчеству ныне забытого, но очень популярного на рубеже XIX-XX веков писателя и художника Николая Николаевича Каразина (1842-1908) — и в этой книге стремление к обобщению опыта проявляется вполне очевидно, хотя за этой очевидностью кроется не совсем привычное...

Начнем с очевидного. Мнение Э. Саида о империализме и колониализме по-прежнему остается для исследователей принципиальным: «Оба они поддерживаются и, возможно, даже приводятся в движение мощными идеологическими образованиями, которые включают в себя представление о том, что определенные территории и народы нуждаются и даже призывают о господстве над ними, а также связанные с таким господством формы знания»¹.

Туркестанский текст, о котором пишет Э.Ф. Шафранская, и его создатель Н.Н. Каразин прекрасно вписываются в концепцию, изложенную Саидом. Надо отметить, что исследователь движется от частного к общему: одна из предшествующих

¹ Саид Э. Культура и империализм. СПб.: Владимир Даль, 2012. С. 51.

работ Шафранской была посвящена ташкентскому тексту¹ — «отпочковавшемуся образованию от туркестанского текста, расширившемуся до самобытного культурного феномена» (С. 18). Ташкентский текст стал своего рода «кульминацией» представлений, более широко развернутых в тексте туркестанском. В текстах Каразина, впрочем, «кульминация» предшествовала «характеристике» — самые яркие, эффектные туркестанские сцены мы находим в первых его колониальных романах.

Разумеется, писатель-этнограф фиксирует непривычную реальность, но также и «строит модель будущего, которая впоследствии будет приватизирована русской колониальной прозой, <...> связанной с цивилизаторским проектом Российской империи в Туркестане» (С. 21). Каразин конструирует некий «проект будущего», и остается только пожалеть, что детали этого проекта в дальнейшей истории литературы и искусства в данной работе не прослежены (редкие экскурсы и сопоставления с произведениями А. Платонова, с прозой начала XXI века или с фильмом В. Мотыля «Белое солнце пустыни» очень интересны и хотелось бы прочитать более обстоятельный очерк данной темы).

История завоевания Туркестана предстает в прозе Каразина и «насильственной», и «справедливой» одновременно. Авантюрные сюжеты позволяют писателю дистанцироваться от событий и избегать однозначных оценок. Именно этим во многом объясняется популярность Каразина у массового читателя. Писатель в молодости участвовал в военных и научных экспедициях в Среднюю Азию, а в 1871 году, выйдя в отставку, занялся литературой и живописью. Романы «Двуногий волк», «В пороховом дыму», «На далеких окраинах» публиковались в таких журналах, как «Нива» и «Дело». Популярное

¹ Шафранская Э.Ф. Ташкентский текст в русской культуре. М.: Арт Хаус Медиа, 2010.

собрание сочинений Каразина, вышедшее в издательстве П.П. Сойкина, составило 20 томов (ропись собрания приведена и в рецензируемой книге). Эти романы, как и очерки, становились для массового читателя источниками знаний о жизни среднеазиатских народов, ставших частью Российской империи. А картины и рисунки дополняли информацию, собранную в текстах, и очерчивали «визуальные границы» империи. С исчезновением империи — Каразин стал «неудобным» автором. Анализируя энциклопедические статьи и упоминания о писателе в советской литературе, Э.Ф. Шафранская убедительно раскрывает механизмы забвения, когда идеологическая оценка подменяет все прочие.

Любопытно сопоставление Каразина и В.В. Верещагина, который также выступал в ампула литератора. Оба оказываются представителями колониальной традиции, особенно в живописи, однако в литературе различия заметнее. Если Верещагин осуждает «восточный деспотизм» и «разврат» и призывает к «борьбе с варварским мусульманским миром» (С. 41), то позиция Каразина сложнее. Он показывает обоюдную жестокость туземцев и колонизаторов, демонстрирует отрицательные последствия экспансии, хотя в целом колониальная политика не подвергается сомнению в его прозе. Достаточно вспомнить наиболее известный, вероятно, роман писателя — «Погоня за наживой». Изображенные там «господа ташкентцы» во многом схожи с персонажами одноименной книги Щедрина. За теорией «колониального приращения» скрывалось казнокрадство, распутство и беспорядок. В разделе «Ташкентцы» Э.Ф. Шафранская подробно рассматривает те эпизоды из романов Каразина, где определяются негативные последствия «экономической» колонизации. И здесь колониальная политика уступает место эстетике — с точки зрения художника, происходящее отвратительно, и в са-

тирических эпизодах Каразин-живописец оказывает существенное влияние на Каразина-писателя.

Вообще этому взаимодействию в книге уделено до обидного мало внимания. Ведь Каразин иллюстрировал свои книги — и было бы очень интересно рассмотреть, насколько близки визуальные и вербальные воплощения одних и тех же эпизодов. Интересны и иллюстрации Каразина к «чужим» колониальным текстам¹. И несомненно, большое значение имеют публикации его текстов и иллюстраций в зарубежных изданиях. На с. 33 указано, что он был постоянным корреспондентом *Illustrated London News*. Было бы исключительно важно уточнить, в какой контекст попадали иллюстрации и тексты Каразина в Британской империи, и это во многом прояснило бы эволюцию «туркестанского текста». Раздел о Каразине и художниках в книге занимает три страницы и, увы, дает недостаточно информации о влиянии его работ на других живописцев.

Но автор рецензируемой книги от «очевидных» политико-экономических и эстетических вопросов обращается и к сугубо этнографическим. С этим связана особенность подачи материала в основной части монографии: «Туркестанский текст... был со-творен теми первопроходцами в Среднюю Азию, которые записывали все, что поражало взгляд европейца, что не укладывалось в привычную картину мира» (С. 19) По сути, каталог «необычного» и составляет Каразин — творец туркестанского текста. Различным экзотическим деталям и посвящены главы монографии Э.Ф. Шафранской, обстоятельно подбирающей цитаты, чтобы продемонстрировать точность описаний — от кунжутного масла до мазара, от украшений до отношения к евреям, от опиума до дервиша...

¹ Гастин Л., Брюжьер Г. Азия в огне / Илл. Н.Н. Каразина. Ярославль: Фаворит, 2017.

Каразин становится защитником традиций «этнографической школы Русского географического общества», воплощенных в экспозиции Российской империи на Всемирной выставке 1900 года в Париже: «...русскость сведена к функции обладания окраинами; подвиг русской культуры — освоение просторов империи» (С. 58). На протяжении второй половины XIX века военное министерство неоднократно выпускало циркуляры, побуждавшие к занятиям этнографией на завоеванных территориях. И сочинения Каразина выглядят как старательное исполнение этих циркуляров, сопряженное, конечно, с некоторыми политическими вольностями, допустимыми для неслужащего писателя. Собственно этнографических наблюдений не так уж много — Э.Ф. Шафранская верно подмечает, что для их перечисления хватило бы и одной страницы. Но Каразин вплетает эти наблюдения в текст, делая их лейтмотивами своих сочинений. Акцентируя внимание на экзотизмах, писатель создает каталог необходимых деталей туркестанского текста, определяющих цельность «колониального восприятия». Каталогизацией вслед за автором занимается и исследователь: «...бесчисленное повторение одних и тех же деталей быта и культуры, переходящих из произведения в произведение, превращает их в паттерны/сигнатуры или... в прецедентные культурные образы-клише (вопреки закономерности, когда локальные тексты складываются постфактум)» (С. 62).

Уже первым рецензентам и критикам Каразина «картины местной жизни и нравов» показались настолько убедительными, что никакой «концепции» за ними усмотреть попросту невозможно. Но из мелких деталей складывается единый образ «дикого Востока», экзотичного и опасного, подлежащего колонизации и «одомашниванию».

Например, описывая туземных повстанцев, Каразин непременно подчеркивал, что они находи-

лись в наркотическом опьянении — «иными причинами объяснить их бесстрашие и оппозиционность нельзя» (С. 101).

Иногда точность деталей оказывается более чем сомнительной: «...покачал головой седой мулла и понюхал табаку из своей тыквяной бутылочки»¹. По мнению Э.Ф. Шафранской, в этом эпизоде «Погони за наживой» идет о тыкве для насвая (С. 175). Но насвай («сухой табак») употребляют следующим образом: «...заложить щепоть вещества под язык и через некоторое время сплюнуть»², при этом очень важно, чтобы порошок не попал в пищевод. «Курящие» насвай восточные жители не нуждаются в табаке, а эпизоды этнографических наблюдений Каразина, напротив, нуждаются в комментарии.

Как ни странно, самые «бытовые», стилизованные под «были» сочинения Каразина в наибольшей мере отражают сложность авторских установок. Такова повесть «Атлар», рассказывающая об истории бачи (мальчика-танцора); ей посвящен один из самых интересных разделов работы Э.Ф. Шафранской. В картинках, которые показывает юному Мат-Ниязу во сне Атлар, сталкиваются идеальное и реальное представление о колонизации. «“Зеленая ветка, покрытая утренней росой”, в руках витязя символизирует новую жизнь, которую несут на эту землю русские войска» (С. 115). И в то же время «витязь с голубыми глазами» — чужак, а сдача ему без сопротивления — предательство. Конфликт остается неразрешенным, хотя сама «быль» завершается подчеркнуто сказочной картиной праведной старости бывшего танцора, ставшего наставником во дворце Хивы.

¹ *Каразин Н.Н.* Полное собрание сочинений: В 20 т. Спб.: Изд. П.П. Сойкина, 1905. Т. 3. С. 209.

² *Гузман В.* Тропой Священного Козерога. СПб.: Red Fish, 2005. С. 15.

В большинстве случаев обращение к этнографическим деталям приводит к описанию триады «быт/экзотика/сакральное». Например, верблюд — «этнографическая деталь быта кочевников (подробно описан нрав верблюда, даже специфический тяжелый запах), экзотический персонаж в колониальной картине края (верблюды использовались для перемещения русских войск), сакральный персонаж туземного фольклора» (С.192). но значения деталей на разных уровнях триады подчас противоположны, и это придает туркестанскому тексту Каразина глубину и многозначность.

В заключительной части работы речь идет о контекстах, в которые вписываются колониальные сочинения Каразина. Здесь весьма интересны наблюдения о прототипах его героев, особенно представителей купеческой династии Хлудовых, изображенных не только в романе «На далеких окраинах», но и в «Горячем сердце» А.Н. Островского, и в «Чертогоне» Н.С. Лескова. Менее увлекательны сопоставления с классическими текстами — например, сходство эпизодов из «Погони за наживой» и «Крейцеровой сонаты» (С. 262-264) кажется в значительной мере случайным. Зато адаптация сюжета «Леди Макбет Мценского уезда» в колониальной прозе (повесть Каразина «Тигрица») действительно вызывает интерес: в беллетристических текстах многие классические образы получают совершенно иное осмысление, и колониальная проза здесь — не исключение.

Конечно, было бы интереснее рассмотреть сближения Каразина не с Чеховым и Толстым, а с русской и зарубежной колониальной прозой конца XIX и начала XX века. Вполне вероятно, что иллюстрации Каразина и переводы его текстов на английский могли быть известны авторам восточных приключений, публиковавшихся в популярных журналах — Ахмеду Абдуллу и Тэлботу Мэнди. Общность сюжетных ходов и деталей подчас ка-

жется поразительной, особенно если рассматривать повести А. Абдуллы о «русском Востоке». Важно и сопоставление с русской журнальной продукцией, с приключенческими книгами 1900-1920-х годов. Наверняка найдутся и рассеянные в периодике тексты Каразина, не вошедшие в «полное» собрание сочинений (в приложении к монографии, увы, таких текстов я не нашел — зато обнаружил перепечатку входившего в «сойкинское» издание рассказа «Ургут»).

Но инвентаризация колониального хозяйства еще не завершена; об этом пишет Э.Ф. Шафранская в кратком заключении, рассуждая о «чарах колонизаторов» и сохранении прежних геополитических интенций. Да, в эпоху постколониализма нам рано сбрасывать со счетов колониальные парадигмы. И будем надеяться, что история русской колониальной литературы еще появится — важный шаг в этом направлении сделан.

Вместо заключения

Конструирование национальной идентичности в русской литературе путешествий

1. Расцвет европейских травелогов в русской литературе связан с «вестернизацией русской социальной элиты и дальнейшим созданием вестернизированной интеллектуальной и культурной элиты» (которая получила наименование «интеллигенция»), когда эти изменения вынудили русских задуматься об их собственной идентичности. Об этом немало писали исследователи (в частности, Д. Офффорд и А. Эткинд), однако понять, какова роль литературы путешествий в интеллектуальной истории России, возможно лишь в том случае, если мы обратимся к истолкованию обширного массива путевых текстов.

2. Особое значение в данном случае имеет литература первой половины XIX столетия. Травелоги становятся своего рода моделью имперской идентичности, причем политологические, социологические, эстетические, философские установки можно прояснить, если обратиться к литературному материалу, кажущемуся на первый взгляд маргинальным.

3. Путевые заметки Н.И. Греча, печатавшиеся в «Северной пчеле», стали своего рода эталоном «европейских» путешествий в русской литературе времен николаевской империи. Перерабатывая, по существу, один и тот же материал, Греч виртуозно программирует отношение своих читателей к «другим», «чужим» культурам. Используя антинаполеоновские настроения в период после 1812 года, Греч наполнял свои письма выпадами против англичан и французов. Со временем путешественник из патриота становится картографом, гидом и

оценки относятся к практическим обстоятельствам. Другой мир стал знакомым, проблемы «иных» — понятными и важными уже «для себя».

4. Восторженное приятие совершенной природы Европы у Карамзина вело к сомнению в изначальном идеале. Совершенство природы мало для совершенства человека, нужно еще образование. Данная позиция, выраженная другими путешественниками, существенно корректируется в текстах Греча; нужно не просто просветить людей, но учесть национальные традиции и сформировать систему представлений, для чего потребно общественное обсуждение; европейские впечатления как раз и становятся средством проверки новых убеждений, чужое служит для постижения своего...

5. В этом контексте возможно по-новому рассмотреть и давно знакомые тексты (письма Н. В. Гоголя), и тексты, по существу, забытые (путевые заметки А. Н. Толстого). По существу, это опыт выхода за рамки имманентного литературоведческого анализа в сферу новой методологии гуманитарных наук.

6. Анализ литературы путешествий позволяет осмыслить этапы описания национальной идентичности. Постепенное узнавание другого ведет к ассоциированию с ним, потом совершается попытка отделить себя от иного, позднее, по прошествии времени, если такая возможность сохраняется, иное становится камертоном, которым проверяются все новые и новые события и явления.

Сведения о первых публикациях

Туда и обратно: Новые исследования литературы путешествий и методология гуманитарной науки // Новое литературное обозрение. № 112 (6'2011). С. 379-402.

La diplomatie litteraire dans les Lettres de voyage de Nikolai Gretch // Les Intellectuels russes: Á la conquête de l'opinion publique française. Paris: Press Sorbonne Nouvelle, 2019. P. 129-136.

Путешествие Густава Ириковича на Восток // Мир Востока и мир Запада в филологическом, историческом и культурологическом аспектах. Материалы международной науч.конф. Ташкент-Самарканд. 25-26 сентября 2013 г. Самарканд, 2012. С. 172-175.

«Фрегат «Паллада» И.А. Гончарова в контексте литературы путешествий // Травелоги: рецепция и интерпретация. СПб.: Свое издательство, 2016. С. 41-51.

Проблемы «внутренней колонизации» в «хивинских» текстах В. И. Даля // Далевские чтения-2016. В.И. Даль и русский мир. Луганск, 2019. С. 51-58.

Бюрократ в провинции: «Очерки нынешней общественной жизни в России» в творческой биографии В. П. Мещерского // Чины и музы: Тезисы докладов научной конференции. СПб.-Тверь, 2016. С. 73-78.

Гостиницы, салоны, пансионы: Из комментария к «Отрывку дневника 1857 года» Л. Н. Толстого // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 3. С. 72-85.

«Русская География» А. А. Фета: немного геополитики // XXI Фетовские чтения: Афанасий Фет и русская литература. Курск: КГУ, 2007. С. 33-38.

Освоение чужого пространства: Египет в прозе Д. Л. Мордовцева // Образ России в историко-литературном пространстве XIX-XXI веков. Ч. 1. Курск: КГУ, 2007. С. 123-132.

Читатель в гостях у писателя (Визит Г.П. Данилевского в Ясную Поляну: тема и вариации) // О литературе, писателях и читателях. Вып. 2. Тверь, 2005. С. 86-92.

Е.П. Блаватская и женская «литература путешествий» // Женский вызов: русские писательницы XIX — начала XX веков. Тверь, 2006. С. 250-256.

«Курортный текст» литературной провинции, или Странствия провинциального эротомана // Провинция как реальность и как объект осмысления. Тверь, 2001. С. 37-46.

Новое открытие Вселенной, или Несколько провинциальных сюжетов // Пространство культуры и стратегии исследования. Курск, 2006. С. 10-17.

Творчество П. П. Бажова и русская авантюрная проза 1920-х гг. // П. П. Бажов в меняющемся мире. Екатеринбург, 2022. С. 174-183.

[Рец.:] Offord D. Journeys to a Graveyard: Perceptions of Europe in Classical Russian Travel Writing. — Dordrecht: Springer, 2005. — XXVI, 287 p. — (International Archives of the History of Ideas. 192) // Новое литературное обозрение. № 97 (3'2009). С. 387-391.

[Рец.:] McLean T. The Other East and Nineteenth-Century British Literature: Imagining Poland and The Russian Empire. — N.Y.: Palgrave MacMillan, 2012. XII, 203 p. // Новое литературное обозрение. № 122. С. 398-401.

[Рец.:] Kleespies I. A nation astray: nomadism and national identity in Russian literature. Northern Illinois University Press, 2012 // Новое литературное обозрение. № 126 (2'2014). С. 398-400.

[Рец.:] Leane E. Antarctica in fiction: imaginative narratives of the far south. NY: Cambridge university press, 2012 // Новое литературное обозрение. № 132 (2'2015). С. 399-402.

Инвентаризация колониального хозяйства // Новое литературное обозрение. № 6 (166). 2020. С. 621-624.

Конструирование национальной идентичности в русской литературе путешествий // Сборник тезисов участников форума «Наука будущего — наука молодых». Том 1. Севастополь, 2015. С. 226-227.

Содержание

От автора 3

Туда и обратно:

исследования литературы путешествий
и методология гуманитарной науки 5

История и имагология

Литературная дипломатия

в «путевых письмах» Н.И. Греча 65

Путешествие Густава Ириковича

на «дикий» Восток 78

Проблемы «внутренней колонизации»

в «хивинских» текстах В.И. Даля 83

«Фрегат “Паллада”» И. А. Гончарова

в контексте литературы путешествий 94

«Очерки нынешней общественной жизни

в России» в творческой биографии

В. П. Мещерского 108

Гостиницы, салоны, пансионы:

из комментария к «Отрывку дневника

1857 года» Л. Н. Толстого 126

«Русская География» А. А. Фета:

немного геополитики 138

Освоение иного пространства:

Египет в прозе Д. Л. Мордовцева 145

Смежные категории

Читатель в гостях у писателя

(Визит Г.П. Данилевского в Ясную Поляну:

тема и вариации) 161

Индийские очерки Е.П. Блаватской

и женская «литература путешествий» 169

«Курортный текст» литературной провинции (Странствия провинциального эротомана) ...	178
Новое открытие Вселенной, или несколько провинциальных сюжетов.....	190
Творчество П.П. Бажова и русская авантюрная проза 1920-х гг.	201

Маргиналии

Путешествие без проблем	217
«Другой Восток»	224
Нация кочевников	231
Путешествия в Антарктику	237
Инвентаризация колониального хозяйства ..	243

Вместо заключения

Конструирование национальной идентичности в русской литературе путешествий	251
Сведения о первых публикациях.....	253

Подписано в печать 10.12.2023

Формат 84x108 1/32

Бумага типографская. Объем 9,5 п. л.

Тираж 350 экз.

Отпечатано в типографии «Альфа-пресс»

Тел.: 8 910 532 1504

